

COLO
R
SOLO

1993

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

СОЛО
9

МОСКВА
„АЮРВЕДА“
РУССКИЙ ПЕН-ЦЕНТР
1993

101000, Москва, ул. Мясницкая, 40

Редакционная коллегия

Андрей БИТОВ
Анатолий ГАВРИЛОВ
Зуфар ГАРЕЕВ
Владимир ЗУЕВ
Леонид КОСТЮКОВ
Александр МИХАЙЛОВ
Евгений ПОПОВ

Редактор-составитель

Александр МИХАЙЛОВ

Представитель редакции за рубежом

Дмитрий ДОБРОДЕЕВ

Müncher Ring 2, 8044 Unterschleisheim Germany

Tel. (089) 317 54 86; Fax (089) 310 49 47

Продажу журнала «СОЛО» за рубежом

осуществляет книготорговая фирма

Kubon & Sagner Buchexport-Import GmbH

8000 München 34, Postfach 340108

Telefon: (089) 52 20 27; Telex: 2 216 711 kusa d;

Telefax: (089) 5 23 25 47

В НОМЕРЕ

Из дневника редактора 4

НОВЫЕ ТЕКСТЫ

Владимир УСТИНОВ

Паралич (*повесть*) 8

Сергей САМОЙЛЕНКО

Стихи 33

Александр ПОКРОВСКИЙ

Рассказы 37

Михаил СМОЛЯНИЦКИЙ

О! Детство! 55

Запах гнили 70

Дети Фестивалей 113

МОНОЛОГИ

Юрий РОМАНОВ

Литература и жизнь в свете религиозного
вдохновения и безрелигиозной скуки 140

Кинотеатр 145

Александр МИХАЙЛОВ

К 3-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ЖУРНАЛА «СОЛО»

1990. Январь. На улице дождь со снегом. Головная боль. Синдром похмелья. Большая комната на четвертом этаже в здании РУНО на улице Мясницкой (бывшей Кирова), 40. Производственно-коммерческий кооператив «Аюрведа». При нем — газета «Афиша», издание московских театров-студий. Кроме заметок о театральных спектаклях, она публикует Пригова, Гандлевского, Степанцова... Гласность! «А давайте выпустим литературное приложение к вашей газете: прозу, поэзию — все самое клевое. То, что никто не печатает!»

«Аюрведа» согласна: даст бумагу и деньги. За рукописями дело не станет. Десятки их лежат в шкафу, как в склепе, отвергнутые «Октябрем» и «Новым миром», где все еще с упоением печатают Гроссмана и Солженицына и смакуют сталинские зверства. У нас будут никому не известные авторы. Эстеты. Ненормальные. Постмодернисты. Мы создадим уникальный журнал: ни одной проходной строчки. Главное — качество!

1990. Июнь. На улице дождь, но тепло. Головная боль. Гласность продолжается. Работает телевизор. Ведущий программы «Утро» Евгений Киселев представляет новый журнал «СОЛО»: «Произведения Тимура Кибирова, Анатолия Гаврилова, Дмитрия Добродеева находятся на грани литературного фола...»

Так сбывается мечта идиота: вышел первый номер. Его продают на Новом Арбате вместе со всей демократической прессой, порно и ужасами. До боли знакомая обложка, похожая на инструкцию к пылесосу, издали заметна на витрине. Говорят, видели человека, который сам видел, как в метро к одному читавшему «СОЛО» подошел другой и спросил, где тот купил такой журнал. И, что уж совсем фантастично, «СОЛО» видели в Финляндии! Шутки шутками, а ведь это, пожалуй, начало триумфального шествия по миру.

1991. Февраль. Мороз и солнце. Привычный синдром. Издательство «Book Chamber International», дочернее предприятие «Аюрведы» и Гутенберга. Сигнал второго номера, который пришлось ждать чуть ли не девять месяцев. Зато

на редкость красивые обложка и шрифт! Гвоздь номера — «Инцидент с классиком» Игоря Клеха. О том, как один чувак поехал на родину Гоголя приобщиться, и первое, что он там сделал сойдя с поезда, уронил в «очко» привокзального сортира связку ключей, в том числе и от квартиры...

1991. Апрель. Третий номер «СОЛО» вышел уже без какой-либо «крыши». Журнал зарегистрирован в Российском министерстве печати под номером 439. За тысячу рублей. Теперь можно спокойно издавать все, что хочется. Апофеоз гласности. «Предполагаемая аудитория: специалисты-филологи, студенты, молодежь» — записано в свидетельстве о регистрации. С его получением появилась некоторая моральная уверенность в завтрашнем дне. Но только моральная. Финансовые же гарантии может дать лишь учредитель — «Аюрведа». Впрочем, и она их не даст. В любой момент все может измениться «в этой стране». Поэтому у советских людей в эпоху перестройки психология истомившихся в коммунистическом плену любовников: хоть день, да мой!

1991. Июль. Чудовищная жара. Мюнхен. Договор с издательством Пипер на публикацию сборника рассказов из «СОЛО». Издадут через год. Название придумали «Мужицкий андеграунд». Как «тульский самовар», «сибирский валенок» или, к примеру, «русская красавица». Звучит пошловато. Но — пусть. Важен сам факт издания за границей.

Английский парк в Мюнхене. Пивной бар тысячи на полторы посадочных мест. Голубая мечта советского алкаша. А недалеко бетонный забор, как вокруг сержантской школы в городе Камышине. Радио «Либерти». Корректный Юрьенен. Десять минут в свободном эфире о журнале «СОЛО» и его авторах. Легко представить, как вся необъятная страна пристраивается к радиоприемникам, слушая без всяких помех правдивый рассказ о «другой» литературе. Читайте! Читайте «СОЛО», драгоценнейшие соотечественники! Перед вами писатели XXI века!

1991. Август. Где вы были с 19-го по 21-е? Лично я выехал утром из загорода в Москву и по дороге свернул в Переделкино к Битову. Он еще ничего не знал о перевороте, т. к. только что восстал ото сна. Включили телевизор и вместе прослушали удручающее сообщение. Битов прокомментировал его кратко: «Теперь столько дерьма повылезет». Само собой подумалось, что и журналу конец. Слово «конец» в слегка измененном варианте крутилось в голове всю дорогу до Москвы, куда я въехал в колонне танков. Вместо обычного часа весь путь до дома занял около трех.

1991. Сентябрь. Синдром гласности продолжается. Вышло уже шесть номеров журнала. В московских киосках «Союзпечати» можно видеть разноцветные обложки «СОЛО». Дела по журналу прибавляются. Куда, например, девать тираж 20 тыс.? «Союзпечать» берет лишь треть, агентство «Кубон унд Загнер» — всего 80 экз. Других путей распространения уже нет. Отправка в другой город стоит непомерно дорого. Придется тираж сокращать. Рукописи все прибывают. Никому не ведомые авторы узнали, что есть журнал, который печатает именно их. В редакцию приходит множество писем. В жизни не приходилось их читать столько, сколько за последний год. И объяснения влюбви, и мрачные прогнозы, и заявка библиотеки из Осло о подписке на «СОЛО», и безумный трактат в духе Н. Ф. Федорова «К вопросу о живом бессмертии», присланный из Темиртау, и реклама эротических изданий из Миннеаполиса, и просьбы принять в Союз литераторов-одиночек, и много чего еще...

1991. Ноябрь. Выпал снег. Поступил в продажу седьмой номер. Вместо трех рублей его теперь продают за пять. Но это не спасает. Себестоимость значительно выше. Все держится на энтузиазме редакции и на остатках иллюзий относительно конечного успеха у спонсора. Ко всему еще и неприятности дома: жена резонно спрашивает, что это за дело такое, за которое почти не платят денег, и почему нужно с таким ослиным упорством им заниматься. Шел бы лучше в таксисты, а литературой бы этой занялся в свободное от работы время. Все русские эмигранты так начинали... (Типичный пример женской логики. При чем тут эмигранты?)

...Конгресс ПЕНА в Вене. Великолепная возможность для рекламы журнала. Аксенов, например, о нем уже от кого-то слышал и знает некоторых авторов. Ему нравится Гаврилов. О журнале говорит с сочувствием. Обещает написать отзыв. Растроганный до глубины души, обещаю взамен его (отзыв) напечатать.

Венский университет. Отделение славистики. Выступление перед студентами. Спич о новой литературе, об издательской ситуации в стране и, естественно, о журнале «СОЛО» как о самом передовом издании эпохи гласности. Реплика после лекции: «Спасибо за интересный рассказ. Мы ничего этого не знали. Слышали только про Достоевского и Татьяну Толстую».

1992. Январь. Обвальная рост цен на бумагу и типографские работы. И хотя восьмой номер еще как бы по инерции вышел, будущее покрыто мраком. Редколлегия продолжает давать

интервью, подогреть интерес к журналу, но, увы, признаки начала конца уже заметны. У «Аюрведы» дела пошли хуже, а мы полностью зависим от нее. Где же взять ДЕНЬГИ? Будь он трижды проклят этот капитализм!

1992. Май. Все пропало. Выпуск журнала приостановлен на неопределенное время. А ведь сверстаны уже девятый и десятый номера. Неужели все было напрасно? Сейчас бы выпить с горя. Но бутылка водки стоит теперь ровно в тридцать раз дороже, чем номер журнала.

1992. Сентябрь. На улице дождь. Головная боль и синдром похмелья. Стены чужой квартиры. Унылый вид из окна. Окончательно поссорился с женой. Ушел из дома, как Лев Толстой. По радио несут какую-то ахиною. О темпора, о морес! Где ты, благословенная эпоха застоя?!

1992. Декабрь. Торжественный обед по случаю присуждения Букер-прайз в Доме Архитекторов. Уже известно, кто получит главную премию. Но кому достанется малый приз в две с половиной тысячи фунтов стерлингов? Наконец, уже слегка уставшая, но по-прежнему улыбающаяся Алла Латынина объявляет, что жюри решило присудить малую премию за вклад в развитие современной русской словесности журналам «СОЛО» и «Вестнику новой литературы»... Как в сущности справедлив и гуманен капитализм, особенно английский! Ваше здоровье, леди и джентльмены! И дай Бог не последнюю...

Владимир УСТИНОВ

ПАРАЛИЧ

*В милицию Центрального района
от товарища Зотовой
Анны Яковлевны.*

ЗАЯВЛЕНИЕ

(зачеркнуто)

*В органы внутренней безопасности
города от гражданки Зотовой А. Я.*

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мой сын, Зотов Олег, очевидно попал в банду. Я обнаружила у него журналы непристойного содержания, можно сказать, порнографические. И не просто порнография, не такая, как на игральных картах. Ими торгуют в пригородных поездах глухонемые. А совсем хуже...

Анна Яковлевна шумно вздохнула, пытаясь побороть начавшийся от слез насморк. Она решилась. Решилась, наконец, отправить сына в тюрьму или исправительную колонию. «Пусть их всех посадят в разные тюрьмы, — рассуждала она, — чтобы они не влияли друг на друга... Это единственный способ разогнать, разбить, уничтожить банду».

Если б можно было найти желающую, можно было б и женить Олега. Но после этих журналов никто не согласится жить с таким... Скрывать от будущей невестки наличие в жизни Олега этих скверных журналов было бы преступлением перед молодой, возможно, матерью. Рушится последняя надежда на спасение сына. Остается одно — в тюрьму. Отправить его на перевоспитание в последнюю профессиональную инстанцию. А если и это не поможет, то лучше и вовсе потерять сына, как это уже чуть было не случилось когда-то...

Анна Яковлевна запечатала конверт клеем из пластмассового тюбика. Положив письмо под скатерть, она долго сидела, поглаживая новую клеенку на круглом столе.

Низко, над самой ее головой, висел зеленый абажур. Свет сильной лампы высвечивал макушку. Можно было пересчитать волосы: черный, голубой. Черный и голубой — редкие волосы на макушке. Белой и блестящей смотрелась кожа на черепе. Очки сползли на щеки. Нос этому не мешал. За долгую жизнь нос так и не вырос. Он стал пористым и красным шариком. Анна Яковлевна всегда была некрасивой и, как это часто бывает, упрямой в исполнении намеченного. Всякое мероприятие воспитывает. Воспитание — путь. Если не так, то и не мероприятие, а выхолащивание духовных принципов. Это и многое другое известно всякому приличному педагогу, тем паче словеснику.

Куда же пойти? Никого из дружков — участников банды — она не знает. Пойти к нему на работу означало бы придать делу огласку. Начальство поступит собственным образом, то есть соответственно сохранению занимаемого положения. Это может лишь окончательно запутать дело. Чего доброго, они и замнут это дело, как и сестра, не усмотревшая в этих отпечатанных типографским способом, стало быть, заграничных журналах ничего особенного. Надо бы постараться вспомнить названия улиц и прочие ориентиры мест, которые изредка упоминает сын. Из этих случайных упоминаний можно обнаружить, хотя бы и примерно, где следует походить и поискать...

Анна Яковлевна поднялась со стула и медленно пошла на кухню. Туда уносили на ночь будильник. В комнате его слушать совсем невозможно. На улице еще светло. Из темной кухни на четвертом этаже хорошо виден дом напротив. «Сколько окон — столько мелких ячеек. Сколько ячеек — столько жизней. Даже больше... И только происходящее здесь, крах — никого не интересует. Никто не подозревает, или делают вид?» Время на будильнике: одиннадцатый час. Пружина жужжит мотопилой. Никакие беруши не спасают от этого грохота.

Газ на кухне горит голубой розочкой. Спичек нет. Все вытаскал, бандит. Вот уже год, как он появляется набегами. Неизвестно, где живет. Имеет свои ключи, даже если сменить замок... Жарко. Газ до конца не сгорает: воняет и закоптил невидимый в полумраке потолок.

Анна Яковлевна налила в фужер из желтоватого (или грязного) стекла яблочный уксус. Добавила воды из чайника. У нее хронический бронхит. Яблочный уксус способствует отхаркиванию. Правда, сын не ворует из дома денег. Тем более! Значит деньги в банде есть? Занимаются грабежами. Какое из последних происшествий их рук дело? Пропажа восьми-

летней девочки или зверское убийство престарелой четы в Ленинском районе?

Самое страшное, если бандой руководит матерый изощренный преступник, не обычный ворюга-дебил, а тот, кто выглядит респектабельно. Влиятельное лицо. Занимающий солидный пост. Ему-то и нужны молодые исполнители, не имеющие ни должных моральных принципов, ни достаточной социальной устойчивости в обществе...

Кран над раковиной открыт. Этого Анна Яковлевна сквозь беруши не слышит. Кран до конца не закрывается, и, чтобы не капало прямо по голове, хозяйка пускает тонкую стеклянную струйку. Осторожно достает из-под скатерти конверт. Аккуратно распечатывает. Клей не успел засохнуть. Все начинается сначала: из старого, потертого портфеля достает свежий лист бумаги. Каллиграфическим почерком выводит первое слово: «Заявление».

С пятого по десятый класс Анна Яковлевна преподавала литературу и русский в том же классе, где учился ее сын. Все это время она была у него и классной дамой. Ни под каким видом не выказывала окружающим и ему самому, что она — его мать, и все вокруг тоже забыли об этом, да и о нем самом. Его и видно-то не было. Сидел на «камчатке». Рыжий, толстый. Волосы — огненно-красные, на фоне большого розового лица. По внеклассному чтению тогда было «Путешествие на Кон-Тики» Хейердала. Во время этого чтения некоторые поглядывали на Олега, там, где говорилось, что на острове Пасхи именно такого окраса люд. Именно такого. Совершенно очевидно, что у него должна быть и *вахина* (женщина на их языке) огненная. Анна Яковлевна, видя своего сына искося, полагала, что из него вырастет лев. Этакий Рубинштейн. Олег носил буйную шевелюру. Его никто не третирует, не требовал остричься.

Анна Яковлевна уже приобрела нистагм — глаза ее на месте не стояли, а прыгали, словно бы самостоятельно существующие. Это помогло ей следить за всем классом. Никто не мог угадать, на кого она в данную минуту смотрит. Сын был для нее надеждой. По ее представлениям, Олег должен долго и незаметно расти. Пусть никто его не замечает, пусть он будет не лучше и не хуже других. Пусть потом скажут, что он был как все. Наступит час, и он раскроет свою одаренность! Это будет после тридцати. Все увидят, как богато одарен от природы этот застенчивый мальчик. Ему надо много учиться, чтобы обрести в знаниях необходимую поддержку своему мощному дарованию. Когда дарование огромно, тре-

буются многие годы, чтобы обрести необходимую почву под ногами. Это нечто противоположное вундеркинду — «поздний гений». Такими бывают те, кому суждено повлиять на судьбы мира. Дома он был другим. И хотя педпроцесс неотступно присутствовал и здесь, можно было подумать, что Анна Яковлевна его не замечает. Да и он ее не замечал. В мальчике было много девичьего. Он любил одеваться красиво. Такими вещами становились платья и прочее из маминых туалетов. Долгое время он носил дома пионерский галстук. Шелковый галстук на гипюровой кофточке. Называл себя Татьяной Алексеевной Кузьминой. Часто болел. Это тоже повлияло на отношение к нему в школе. В старших классах по полгода не появлялся на занятиях, но сдавал все предметы весьма успешно. Успешно и неброско — что называется, удовлетворительно. К нему приходили репетиторы из числа школьных педагогов, и он воспринимал это как вполне законную услугу на дому. Болезни в основном носили простудный характер и тянули за собой разного рода осложнения. Он переболел всем тем, что было модно, если так можно выразиться, всем, что появлялось в виде эпидемий в родном городе, школе, подъезде. Будучи предоставленным самому себе, он много перечитал книг. Эти книги остались от отца, после развода. Отца он забыл. Мать никогда о нем не упоминала. Только по книгам можно было судить о разделе имущества. Из двухсот томов БВЛ осталось ровно сто. То же самое с подписными изданиями. Правда, энциклопедии и словари остались нетронутыми. Отец побоялся это сделать. Мальчик увлекался домашним хозяйством. Хорошо готовил, особенно сладости. Стирал. Вязал. Самостоятельно познавал всякие науки. Проштудировал справочник по акушерству и прочее, что его интересовало. В разное время его, разумеется, интересовало разное. Впрочем, он сохранял с удивительным постоянством все то, что его интересовало когда-то. Он умел доводить начатое до конца. К нему обращались все, кто его знал, и даже те, кому его рекомендовали. Он мог лучше любого справочного бюро разъяснить многое о железных дорогах и авиалиниях. Автомобильный атлас так же знал наизусть. Ко всему, имел обширные изустные сведения о трудностях покупки билетов и отъезде в те или иные части страны. Знал все и о городском транспорте. Маршруты и, разумеется, устройство транспортных средств: трамвай — троллейбус... Известно, что эскимосы способны зрительно запомнить, скажем, сложные манипуляции по управлению буером, в один прекрасный момент молча повторить все то, что европейцу надо приобретать годами (в смысле навыков).

Олег взял это на заметку и так выучился управлять троллейбусом. Он играл на скрипке, фортепиано и кларнете. На кларнете учился для того, чтобы в армии быть музыкантом, а не простым солдатом. Но в армию так и не пошел, разработав себе целую систему болячек — их общий букет, скрупулезно пополняя истории болезней. В его руках было много справочной литературы по медицине. (Еще одна память об отце — кандидате медицинских наук). В конце концов, институт имени Бурденко признал его негодным, о чем и выдал справку, имеющую для военкомата неоспоримый авторитет.

Анна Яковлевна прекрасно понимала, что мальчик устраивает свою жизнь. И в то же время, ослепленная любовью (а, может, по другим своим качествам), попала под его влияние. Всем, что происходило, управлял скорее он, чем она. Взяв в руки ведение домашнего хозяйства, он постепенно прибрал к рукам и финансы. Обзавелся счетными машинками — двумя. Одну подарил дедушка — директор школы из Свердловска — за 260 руб. Приобрел пишущую машинку «Эрика». Выучился печатать вслепую. Потихонечку прирабатывал и уже сколотил капиталец. Наступало время пускать капитал в оборот. Он ждал своего часа — внимательно изучал прессу и слушал радио. Всего этого Анна Яковлевна не замечала. Как бы. Она считала, что мальчик учится в обыкновенной школе и ведет себя обыкновенно. Исключение составляли его болячки, которые и сказывались в его домашнем образе жизни. И всё. Всё — да не всё! Потому что (вдобавок) — гениален. Но когда она смотрела на это с другой стороны, то замечала совсем иное — что он эгоистичен, несносен, мелочен и даже подл. Устраивал по-бабьи визгливые скандалы. Вытеснил ее на кухню, сославшись, что ему иначе не подготовиться в институт, и пр...

Разбирая его с этой стороны, она занимала новую позицию: это переходный возраст; позднему гению должны быть свойственны умение владеть собой, сосредоточенность, тайная утонченность, замкнутость, внешняя уравновешенность, сдержанность в проявлении чувств и умение оставаться в тени. Все это у него есть. Переходный возраст, некая разрядка в близких отношениях — пройдет. Были и другие стороны. Например, девочки. Он многим нравился. И вот появились претендентки. Претендентки из числа тех, кто по достоинству мог оценить и кулипарные, и портновские, и прочие... но главное — вкус, настойчивость и понимание. Он понимал девочек. Претендентки были, но вот отплатить им ему было нечем. Он неизменно становился наставником. Ничего в них его не интересовало, кроме того, что они могли помочь с

заказом на шитье или на печатанье каких-либо текстов. В то время он занимался и переводами с французского. Попытка прельстить его свободными правами также не имела особого успеха, и, кажется, он стал жаден. Мать называла его Гобсеком. Тогда он называл ее Квазимодо. А то и просто орал, что она сучка! Более грубых слов никогда еще не произносил.

В то же время (и это отмечал всяк вновь входящий) в квартире царил кавардак. Хозяйственные дела исполнялись исключительно по мере вопиющей надобности. Исключение составляла спальня Олега. Угол, который он себе устроил за шифоньером. Накрахмаленное белье, ночные рубашки на выбор по фасону и цвету...

Кто-то, очевидно, предполагал, что мальчик будет гомосексуалистом, но не простым шакаленком из тех, кто пишет в туалетах о месте встречи, а повыше. Сей грех, помимо отвращения, у некоторых вызывает и вопрос. Происходит вольная или невольная попытка увидеть в этом и жизнь, и удовольствие. Кому же неизвестно о Микеланджело, Чайковском и прочих, из среды, так скажем, значительной. Попытки бывают различными. Одни, едва начав, тут же сблевают. Прочие пытаются вначале мысленно привыкнуть. Некоторые завидуют, но не могут переступить. А кое-кто — перешагивает. Анна Яковлевна все это отметала. Она относилась к первой категории. Представить это ей было невозможно. Омерзение. Она была убеждена, что из него получится профессор. Профессор медицины. В десятом классе Олег работал ассистентом на кафедре местного мединститута (нарабатывал стаж). Затем устроился в санэпидемстанцию, лаборантом, а на деле выполнял машинописные работы. Закончив по переписке московские стенографические курсы, он переписывал для себя диссертации тем, у кого они так и не стали таковыми. Читал он свои записи превосходно, что повергало в удивление даже старых стенографисток. Профессор был им крайне доволен. Олег печатал быстро, а главное — очень чисто и аккуратно. Поведение его в высших медицинских кругах было не менее потрясающим. Его сразу приняли за своего...

Возле автобусной остановки «Набережная», там, где понтонный мост в сторону мельзавода, есть продовольственный магазинчик. Двухэтажная стекляшка. Под железным навесом, в складе, похожем на большой гараж, собиралась разношерстная компания. Впрочем, разные компании хороводились там в течение дня, а лучше сказать — суток.

Любка Соркина работала приемщицей. Бездомного художничка устроила в ночной прием свежего хлеба и молока. Лучшей заправки, чем холодный кефирчик, невозможно и придумать! Любка — рыхлая бабенция. На ногах — толстые узлы синих вен. На лице кривые пухлые губы и весьма молодые, а иногда и озорные карие глаза. Короткая черная юбка и просторная спецовочная куртка дополняли ее вид. Художничек ростом не вышел и потому ходил на котурнах — толстых резинках, набитых или наклеенных на подошву пьяным сапожником-персом из соседней будки. Упомянув его, всегда было принято сказать на французский лад: «Рэ-монт О'Буви». Перса звали Иваном. Ничего белого, желтого или рыжего он не пил. Пил исключительно красное, с самого раннего часу.

На восходе солнца, с первыми его лучами, он неожиданно заколотил в железный сарай кованым костьюлем. С такой силой, что все подумали: «Милиция!» Это так встряхнуло тихую под утро компанию в гараже, что, увидев вредителя, Любка буквально вывалила сапожника вместе с авоськой грязных пузырей за угол. Иван прогрохотал, невнятно выругавшись, и стих... Наступила тишина. Очевидно, сапожник сидел на земле молча и без движений, занял таким образом очередь первым.

— Персы, они же иранцы — возлюбленный Аллахом народ! Не боятся они даже смерти, ни ху-ху... — начал художничек, рассматривая на свет болгарский «Рубин» в бутылке.

Он слегка наклонил сосуд, всем видом показывая, как наслаждается цветом сверкающего рубина. Затем он картинно поднес бутылку к вытянутым для пошлого поцелуя губам. Округлил их в трубочку и...

— Привет, горнист! — сказала Любка, выхватывая из другой его руки кусок хлеба. — Они не смерти, а американцев не боятся...

Художничек поморщился, притянул ее за голову, занюхал и сделал вид, что ему все равно. Батюшкин, похожий вовсе не на сына профессора мединститута, а, скорее, на солдата, что пять лет не может найти родную хату, громко выругался — семиэтажным матом. Такой мат собирается, слагается, заучивается годами, капля за каплей. Форма его, однако, не застывшая, и настоящий высотник-монтажник всегда склонен к мгновенной импровизации. Не важно что за тема, лишь бы слова подходили, и рифма. Как иные нумизматы хранят серебряные и золотые монетки в бархатных кармашках больших альбомов, хранятся основные элементы — слагаемые мата — в бережливой голове истинного лю-

бителя. Сейчас, можно сказать, почти нет таких мастеров. Нет зрелых и ловких умельцев даже на три-четыре этажа. И воспроизвести здесь хотя бы малую толику для наглядности невозможно. Увы...

Батюшкину 19 лет. Его ищут забрать в армию. Ждут где-нибудь во внутренних войсках: на тройке или на семерке, а то и прямо в шизо — прямиком в штрафной изолятор. Изолировать их всех друг от друга. Пусть заглохнет вовсе его дивный мат!

— Американцы с рацией — засранцы в собственные ранцы! — добавляет он и на восьмом этаже (на коньке) водружает собственную мать.

Всем четверым хотелось побыстрее рассчитать Ивана — отдать ему любимый насущный вермут. Поскольку трое уже высказались, все с надеждой посмотрели на Гаяне — черную красавицу полуармянку. Ее черные кудри напоминали гриву блестящего коня. Несомненно, Гаяне была для всех темной лошадкой. Она мечтала работать в столичном варьете (как оно и случилось со временем). В мужьях имела очень приличного, интеллигентного инженера, таинственным образом сохранявшего здоровье. Его не брала никакая зараза.

Гаяне молча взяла бутылку из ящика. (Гараж был одновременно и винным складом.) И, презрительно произнеся: «Иранец... ира-нец», — продефилировала к двери. В этих словах, в самой интонации слышалось «фи...».

Когда Гаяне изящным движением ноги толкнула дверь, в гараж ворвалось солнце. Оно (по-маяковски) вкатило свои «сто тыщ и миллион лучей». И в этих лучах возникла Шехерезада! С локонами не менее черными и жгучими, чем у Гаяне, вдобавок еще природными, а не завитыми химически. Как лист перед травой возник не кто иной, как сам Хафиз, собственной персоной. Сын бедного сапожника. В его руке виднелся ивовый прут. Хафиз нервно обрывал с него последние листочки. За ним невдалеке виднелся и сам ивняк на берегу ржавого Миасса. Из него то и пришла к нам, вместе с борцом за права иранского народа, сия пламенная розга. За ржавой рекой, на правой стороне речного окоема, любопытный глаз мог бы узреть и голубей. Их на мельзаводах всегда избыток. Сам элеватор, возможно, единственное любопытное, с точки зрения архитектуры, строение в городе. Храм — не храм, замо́к — не замо́к, но что-то очень внушительное. Из красного кирпича с розовой прокладкой. С узорчатой прокладкой ponad закругленными вверху окнами. Голландское сооружение конца печального девятнадцатого. Печального, потому как не повторится.

Сама «орэндж ривэр», помимо означенного названием цвета, имела и вкус. Кому-то поначалу могло показаться, что рядом квас. Но на каких дрожжах? Лучше не задаваться этим вопросом. Непokoйный взгляд всегда может соскользнуть в сторону. Правее понтонного моста, в ржавой пене, стоят грандиозные очистные сооружения. Река мелкая. Из нее торчит все то, что обычно встречается на городской свалке; ничего примечательного. Треть занимает осока, и если б не знать, что там вонючая трясина, можно было решить, что здесь по ночам катаются на МАЗах — такая она замазученная.

Хафиз принял из рук прекрасной Гаяне пузырь вермута. Передал его стоящему за спиной отцу и решительно шагнул в гараж. Бледное его лицо, каким оно бывает только у кукол с черными волосами (да и то редко), было еще бледнее. Губы закушены. Лихорадочно блестят черные маслины... Он был чертовски красив в эту минуту. Гаяне опустила на свои порозовевшие щеки пушистые ресницы, а Любка с отчаянным криком: «И-и-ох, твою мать!..» — бросилась взбираться на гору ящиков. Тем и допустила пару ошибок. Во-первых, персы не переносят женского мата. Во-вторых, персы не переносят публичного вида женского тела. В данном случае оголившейся задницы в синих рейтузах. По ним-то и пришелся первый свистящий удар. Хафиз ударил, как в русской сказке, — три раза. Любка вертела ошпаренным местом и визжала, продолжая покорять высоту. Наконец, конструкция не выдержала такого натиска: царевна полетела вниз вместе с ящиками.

Хафиз резким движением швырнул прут себе под ноги. Так некогда его предки швыряли изломанный кнут рядом с избитой глупой женой...

— Вот так и всегда... — высказался художничек.

Любка распустила свои толстые кривые губы. Такого очертания не придумаешь — получился некий замысловатый многоугольник. И в нем полно мелких зубов, расположенных стереоскопически: один ближе, другой дальше. Сквозь щелку в кулаке художничек глядел на нее, прикрывая другой рукой глаз.

— Ну, прям очень хороша! Уж очень хороша, ну прямо... — приговаривал он.

Через минуту двое русских и одна полуармянка стояли за дверями гаража. А в гараже завывали, громя вокруг себя несчастную посуду, ведьмы...

Вечером того же дня, когда Анна Яковлевна вышла на поиски возможного местонахождения Олега, все четверо

стояли у железной двери. Настроение отличное. Ночь предстоит теплая, можно и прогуляться в мельзавод — поваляться в зерне...

Заметив подозрительную женщину, гуляющую рядом, Батюшкин закончил свой пятиэтажный (на сей незначительный случай) мат умными словами:

— Это «шаффл» — негритянский шаг. Танец.

Ее ноги и в самом деле не отрывались от земли. Художничек засуетился, пытаясь спрятаться сразу за Гаяне и за Любку. Гаяне посторонилась. Зато Любка, распахнув спецовку, удерживала полы ее руками в карманах. Художничек притаился за обширной надежной ширмой. Признав учительницу, Любка заявила: «Сыночка ищет!». Все четверо нырнули в гараж.

Анна Яковлевна вернулась домой. Ей было радостно, что она сумела кое-что разузнать. Природное и учительское чутье подсказало ей посмотреть в районе остановки «Набережная». Она заметила там кое-кого из банды. Разрозненные реплики из скандалов с сыном начинали складываться у нее в логические цепочки. Оказывается, ей не так уж мало известно, как казалось поначалу. Если вспомнить, если сопоставить, домыслить — получится весьма ясная картина. Надо немедленно записать свои соображения... Она присела на минуточку на диван и долго не могла с него подняться. Казалось, ноги не удержат ее. Не спеша проверить свое ощущение, она сидела, стараясь занимать себя размышлениями. Однако мысль уже была. Только Анна Яковлевна не соглашалась с тем, что она есть. Вот она, выраженная в словах. Наконец это стало совсем глупо, и она громко, чтобы слышать себя, усмехнулась: «Уж не паралич ли пожаловал ко мне в такой час? Пришел, увидел и разбил!» И тут же, с этими словами, она поняла — именно так. Паралич! Сначала она сидела не шевелясь, в надежде, что обойдется. В позвоночнике, в копчике слышались тяжелые, болезненные удары сердца. Словно бы оно находилось там. Ниже возникших ударов — ничего. То есть — диван. Бюст с сердцем в спине! Все, что ниже, — пока диван. Анна Яковлевна потребовала от себя спокойствия, приказала не торопиться, не волноваться, а ждать. Если это нервы, то, возможно, успокоится, пройдет, и то место, которое сейчас стало диваном, начнет легонько мозжить. Побегут, зацепят иголочками мурашки... Когда они побегут, части тела обвяжутся, как у убитого Человека-Невидимки. У Анны Яковлевны появятся две ноги. Сначала два направления. Потом две толщины. А уж потом и обе ноги. Затем возникнут пальцы.

и тогда можно попробовать воскресить движение. Чуть пошевелить новыми пальцами. Что-то подобное приходилось испытывать... Этими размышлениями Анна Яковлевна пыталась сосредоточить огромную волю на самовнушении. Она со всею настойчивостью приказывала невидимому подчиниться! Она обращалась к параличу, как к живому существу: старичку в белых валенках, в зеленой курточке, со злым перекошенным лицом... С некоторых пор в ее атеистическом сердце возник Бог. Не личный и вечный, всемогущий и вездесущий, а Хозяин. Домовой...

В этой квартире до нее жили дважды. И дважды здесь парализовывало. В первой семье — девочку. Во второй — молодого мужчину. Все они упоминали один и тот же сон. К ним являлся на рассвете седой старичок в зеленой бархатной курточке, похожий на татарина. Анна Яковлевна тоже видела этого старичка. Старичок бил себя по крепким ляжкам, громко топал, поворачиваясь на месте, и чего-то требовал. Она его не слушала. И видеть его не хотела! Старичок плюнул ей под ноги. И тогда, во сне, они тотчас окаменели.

А началось все значительно раньше. После развода и размена квартиры Анне Яковлевне досталась большая хорошая комната, 24 метра. Квадратная, с высоким потолком. Как раз после ремонта. С большим балконом. Южная сторона. Единственный недостаток — пятый этаж. В квартире, кроме ее комнаты, еще две смежные. Их занимал один-единственный человек — молодая женщина. И гром грянул среди ясного неба! Эта бездетная женщина принялась ухаживать за маленьким Олегом. Поначалу это было терпимо и даже по-соседски трогательно. Анны Яковлевны часто не было дома, и эта женщина занималась мальчиком с большим усердием. Олег подолгу оставался в ее комнатах. Эта женщина его безумно баловала. Ставила на стульчик и наряжала, как куклу. При этом утверждала, что Олег словно бы сошел с картины Венецианова. Копия крестьянских ребятишек. Девочка. Она учила его шить, вязать, готовить. Видно было, что для Ольги Бернгард это не сын и не дочь, а младшая сестренка. Олег звал ее на «ты» и по имени, чего никогда бы не посмел с Анной Яковлевной. Ее он всегда звал на «вы» и по имени-отчеству.

Часто оставаясь с больным ребенком, Оля охотно занималась с ним уроками, учила французскому, помогала по школьному немецкому. Оля закончила в свое время «ин-яз». Она работала страховым агентом и устраивала свою работу так, чтобы чаще бывать с Олегом. Если он болел, она не ходила

на работу вовсе. Уходила она только тогда, когда появлялась Анна Яковлевна и, со свойственным ее педагогическому характеру рвением, начинала воспитательные мероприятия. Бернгард считалась красивой блондинкой. Все, что можно было оголеть, — оголялось и притягивало. Олег стал звать ее «моя француженка». Ему уже шел двенадцатый год. Все соседи (за редким исключением) порицали подобное воспитание. Их с Олегом часто начали видеть на улице вместе. Они куда-то бежали или возвращались, а то и просто гуляли и всегда были заняты чем-то веселым. Гром грянул. Бернгард заявила, что ей надоели бесконечные нотации, морализации со стороны Анны Яковлевны. Она так и заявила, что больше не потерпит эти бредни, и если не прекратят вмешиваться в ее жизнь, а к тому же еще и обсуждать все это в своем околотке — она вызовет своего капитана, а тот уж сумеет правильно постоять за нее! Тогда-то и случился удар. Первый, еще не сильный паралич. Она попала в психдиспансер, в неврологическое отделение. После чего Анна Яковлевна добилась размена. И даже получила отдельную однокомнатную квартиру. С тех пор прошло немало лет. И вот она здесь. Одна. Сын пропадает неизвестно с кем и где. Впрочем, уже известно... Анна Яковлевна никогда не забудет, как повредила им эта свихнувшаяся в своем эгоизме бездетная фашистка!

Ноги так и не вернулись. Невидимка остается невидимкой. Анна Яковлевна дотянулась до края стола, стараясь не потерять равновесия, не оказаться в безвыходном положении — не упасть на пол. Решительно потянула стол к себе и уверенным почерком вывела на чистом листе бумаги следующее:

*В КГБ города Челябинска.
Ответственному по делам
молодежи
тов. Ежову А. С.
от персональной пенсионерки
и матери Зотовой А. Я.*

ЗАЯВЛЕНИЕ

Теперь, когда дело зашло так далеко, я требую от Вас не обычных отписок и косного расследования, а мероприятий самых оперативных! Они должны быть таковы, чтобы немедленно парализовать действия всей банды в целом, а так же ее отдельных, пусть даже самых отдаленных участков. Приказываю! Поступать так, как поступали в классический период развития нашего общества. Брать не только самого врага,

по и его семью! Начиная с меня! Далее следует забирать друзей семьи врага. Друзей этих друзей и их семьи! Тех, кто знал или мог знать! И тех, кто мог знать о знавших! Так до самого конца! Классический период потому и называется так, потому что учит! Дает нам урок на будущее! Да Вы и сами это знаете лучше всех! Считаю необходимым, прежде своего ареста, сообщить: мой сын, Зотов Олег Игоревич, занимает в банде место секретаря-переводчика. Он переводит и размножает ужасную литературу! Очевидно, он уже настолько погряз в своем разложении, что отношение к себе в банде снискал самое уважительное. И, хотя он по-прежнему не пьет и не курит... это еще хуже! Это значит, что он обрел «идею»!

Если бы я могла... я бы сейчас незамедлительно отправилась к Вам под арест. Я прекрасно осознаю, что таких матерей, как я, следует сажать на кол прилюдно. Всенародно сажать — на площади! Я воспитывала сына так, чтобы он стал большим, великим ученым, способным приносить большие, великие дела и пользу. Великие дела и польза нашему государству не повредят! Я не заметила, я упустила тот момент, когда он переступил рамки дозволенного и, перейдя границу, окунулся в то, в чем ему, с его неокрепшим умом, предстояло разобраться неправильно. В результате — трагедия!

Очень прошу простить мне слишком упрямый слог. Простить за многие неуместные выражения и восклицания. Поймите меня — я просто мать! И я не знаю, какими словами сказать о своем положении...

Еще раз прошу великодушно простить меня и понять...

С уважением: А. Я. Зотова.

(число и подпись)

Еще сильнее заколотило в позвоночнике. Переписывать более подходящий вариант у Анны Яковлевны не было сил. Сейчас ее больше всего беспокоило: как она ляжет на диван? Бог с ней, с постелью. Как поднять ноги? Обе такие тяжелые. Очень неудобно. Сначала она просунула обе руки под колено, сцепила пальцы замком. Оттого ли, что нога теперь совсем не сгибалась, или была тяжела сверх ожиданий, начался приступ астмы. Второе сердце забилося под черепом, в его крышку. Она задыхалась. Боль в голове не уменьшалась, и стучало так, что она невольно сморщила лицо. Рот, зажмуренные глаза, множество морщин — все придвинулось, подползло и окружило красный шарик намокшего носа. Слышалось адское сопение. Анна перемогла и это. Она пододвинула

стол еще ближе. Уперлась в него тяжелой грудью. Дотянулась до голени и с огромной отчаянной силой рванула ее в сторону и на себя. Стопа вывернулась и легла на диван, зацепившись внутренней стороной. Колено ушло налево. К счастью, оно не мешало заняться левой ногой. Еще один рывок за колено и за стопу — и правая нога на диване. Анна Яковлевна с удивлением обнаружила свою новую позу. Тут же ей вспомнился цирк: лилипутка в розовом платье сидит на полу манежа, а ноги остались на столе. «Как в цирке!» — криво усмехнулась Анна Яковлевна... Для того, чтобы поднять левую ногу пяткой на диван, ей надо было сдвинуться в диван поглубже. Попытка проделать это, отталкиваясь от стола, не удалась. То не могла расставить на круглом столе руки пошире, то ей не удавалось подтянуться — слишком высок стол, и диван низкий, то стол начинал съезжать со своего места. Наконец, она отжалась на руках и качнулась к спинке дивана. Это удалось. Осталось поднять на диван левую ногу. Ее нужно было поднять прямо перед собой, а потом повести колено направо... Руки срывались. Замок под коленом не получался. Пальцы онемели, и не чувствовалось: достаточно ли хорошо они сцепились. Несколько раз руки срывались; она теряла равновесие. За окном наступила крошечная ночь. Шторы были не закрыты. Анна Яковлевна не любила открытых окон. Она не признавалась себе, что часто меняет замки и закрывает все двери из боязни, что за ней вдруг придут. Она говорила всем об этом как о порядке, заведенном еще ее родителями. А дед ее был бесшабашным весельчаком. Чем он кончил — известно. Пропал!

За окном начался дождь. Тяжелые капли больно били о карниз. Сильный ветер бросал в открытую форточку воду, и она растекалась по подоконнику, повернула и начала лить на валанки под батареей...

Анна Яковлевна взялась за левую ногу. Руки налились неожиданной силой, будто бы она давно калека безногая. Теперь руки ее слушались. Она справилась со всем. Она лежала на правом боку. Осматривала новую форму тела. Она не желала достигать более привычного глазу положения. Зачем ей эти чужие ноги! Пусть лежат где хотят и как могут. И тут воля ее покинула. Она завывала тонко и жутко... «Лишь бы лампочка не перегорела», — с ужасом думала она. Было жарко. Под лампой все было раскаленным, но нельзя покинуть свое место. Анна Яковлевна выла и выла, зная, что свет этот поддерживается ее воем. Она всегда выла неслышно, и этим воем поддерживался не только свет, но и сама жизнь. «Лишь бы, лишь бы не перегорела эта лампа!» — выла она...

Через неделю после позорного избиения Хафизом Любки Соркиной художничек оставил за себя Любку на ночном приеме молока и хлеба (казалось бы, чего еще надо?) и отправился *на халтуру*. На первый взгляд, слово может показаться отечественным, родным. Непостижим механизм узнавания незнакомого слова, когда ты просто и четко вдруг понимаешь: наше! свое! Некогда на этом слове ездили да понукали. *Халтурой* первоначально называли всякую побочную работу. Потом, поразмыслив сообща: почему побочная работа — халтура, а основная — нет? — сравнили и вычленили слово до малоупотребительного. На второй взгляд, не обнаружив в этом слове понятного корня, сочли его иностранным: конъюнктура, номенклатура, культура и пр. В словаре иностранных слов, однако, такого слова нет. Придется воспользоваться магической цифрой три, как в русской сказке, вернуться к трем заглавным буквам, произнести несколько раз, рассматривая литеры. Есть в этом что-то азиатское, восточное... *ХАЛ-тура, ХАЛ-иф, ХАЛ-ат.*

Как Халиф в халате, проводил свои сеансы художничек! Зовут Юрием. Лет тридцать. Юрий — почти Юлий. С такой интонацией и проводились еженедельные сеансы. Раз в неделю, с субботы на воскресенье. На квартире, где Юрий или Юлий возникал: заходил, умывался, брился, чистился, освежался, взбодрялся, насматривался и... возникал. В шелковом китайском халате с короткими рукавами-крылышками...

Юрий учительствовал на дому. Мы знаем безвестных миру репетиторов во всех областях, необходимых для какого-либо поступления, наук. Знаем об уроках музыки. Здесь — другое. Конечно, свято место пусто не бывает! Некто обучает рисунку за пять-шесть часов! Трудно представить, потому и легко поверить. Юрий же учил живописи, а это не рисунок! Чтобы представить, как это происходит конкретно, следует читать ниже. Представив, будет трудно поверить. Итак, он учил живописи. Конкретно — это были шары и булки. Еще конкретнее — воздушные шары и батоны.

Давно замечено, как горячо любят дети рисунки своих родителей. Счастье тому, кто овладел хоть каким-нибудь способом изображать знакомый предмет, животное, вещь. Матери обычно рисуют красавиц с большими глазами и ресницами, в платьях из театральной костюмерной... Отцы, на худой конец, домик, елочку... Их рисунки нравятся им самим больше, чем чутким детям. В любом случае — дело беспроегрышное, потому как — дети же! Мало кто, рисуя домик, осознает, что рисует в кубической манере. Осознав, это можно было бы продолжать. Из треугольников, прямоугольников и прочих

простых фигур можно сложить, к примеру, поросенка... А нарисовать воздушный шар объемным, живым и красивым? А батон? Но, ведь — дети... А мир — ясли...

После появления Анны Яковлевны в районе остановки «Набережная» Юрий шел на свою халтуру, нервно озираясь по сторонам. Его раздражало все: и кусты, и деревья, мешающие обзору, сами дома с их непрозрачными углами и всякий движущийся объект. А таковых в городе, где двадцать человек на один квадратный метр, — просто убивает!

Нырнув в жерло немытого подъезда, Юрий решил немного прийти в себя. Успокоиться. Прошли времена одинаковых дверей, одинаковых входов и выходов. Прошли времена одинаковых людей и их одинакового во всем оформления. Медленно поднимаясь на четвертый этаж, Юрий чувствовал себя попавшим в индивидуальные сферы, в систему связанных между собой кооперативов. Каждая новая дверь своим видом как бы говорила: здесь пушнина, а здесь свинина, а тут электроника! Все люди разные, а хотят одного. Все люди хотят одного, но почему такие разные? Парадокс.

В дверь, на которой изображены три снежинки, расположенные в углах композиционного треугольника, следовало стучать. Все давно в сборе. А когда ждут, хорошо стучать, а не звонить. А звонок имеется... И пока Юрию бегут открывать, подготовленным тематически глазом можно увидеть, как художничек нарисовал эти снежинки. Все они состоят из различно расположенных букв «Т». Можно, разбирая живопись подобным конструктивистским образом, прийти к обучению сеансами. Но, Бог ты мой, это же было в начале века! Кому нужен этот анализ форм после всего, что превзошел мир! Можно учить фломастерами. В большой пачке на каждом листочке делать одну линию, меняя фломастеры без разбора. Затем рассматривать бумажки, в голове начинается скакать, и наступает впечатление. Не перечислить же все возможные варианты преподавания в изобразительном искусстве! И все-таки это не живой батон или живой шар. Чтобы работать с чудесами — надо считаться со временем. Надо помнить о нем и уметь управлять им. Чудо только тогда чудо, когда оно мгновенно, неожиданно и на глазах у всех. А показав чудо, можно приступать к следующему. Трудиться, трудиться и трудиться.

В комнате накурено. На полу играет «Хитачи» — магнитофон. В квартире Батюшкина все делается на полу. Без обуви, без... короче, без страха и упрека, по-рыцарски. У каждого на сеансе своя банка со свежеччищенной грандиозными

очистительными сооружениями водой. Миасская водица. Скоро ей придется вернуться в материнское лоно, в первозданный мутный хаос естественного пребывания. Таков круговорот воды в природе. Кто из них мать-природа, а кто отец-космос — бог весть! У каждого чистый лист немецкой акварельной бумаги, индийские кисти и ленинградская акварель «Нева». Инструмент должен быть на высоте. В остальном своих учеников Юрий ничем не стесняет. В этом состоит еще одна отличительная черта его халтуры. Юрий говорит: «Меняются люди — меняются свечи, меняются свечи — меняются кассеты, а все, что здесь происходит помимо, — дело обычное. Не за этим же сюда приходят в первую очередь. За тем, о чем вы думаете, приходят во вторую.. И только второго у них не может быть без первого. Только и всего, и в этом вся клюква!».

Девочки и мальчики. Все они разные и одинаковые. Не стоит описывать. Обойдемся. Юрий садится в центре, на корточки. Бывает, при этом халат его распахивается в чью-нибудь сторону. «Будем брать шар», — начинает потусторонним голосом художничек. Он словно бы обращается к Олимпу. Окружающие встают. Он быстро вращает под кистью с голубой краской лист бумаги. При этом и сам успеваешь обежать вокруг листа. Мгновение, и... «Шар здесь!» — говорит он простым теплым голосом. Рассмотрим же, что в этом чуде есть обыкновенного? О том, как это делает сам учитель, говорить не приходится — этому надо учиться и учиться, как завещал великий кто-то. Этому-то потом и учатся самые настойчивые последователи. Как и во всяком чуде, здесь есть свой фокус. Весь фокус в том, чтобы среди учеников не было любителей дошкольной литературы, или тех, у кого есть малые дети. Таковыми обычно являются старшеклассники и студенты первых курсов. Они детей в упор не видят, разве что во время собственных родов. А то бы — что? А то бы из детских книжек они знали, что шарик рисуется так: широкой кистью описывается овал. (Круглые шары здесь не рисуют. Круг — вершина! Круг учатся рисовать всю жизнь, согласно сведениям о художниках в поп-книгах.) Овал, похожий на толстую колбасу, прокрашивается. Разумеется, овал начинается темным, потому что краски больше, и она здесь ярче. В конце краска кончается, и здесь образуются непрокрашенные места. То, что темное, — есть тень, а непрокрашенное — свет. Свето-тень! Что и необходимо для живописи. Шар голубой. Чтобы гармонизировать с желтым батоном. Эти краски хорошо смотрятся рядом. Батон рисуется с помощью «эра». «Эрами» называются этапы. Так же, как в палеонтоло-

гии. Этим как бы подчеркивается сходство рождения одного предмета с рождением земли и всей вечности в целом. Здесь тоже есть свои ритуальные движения. Сначала рисуется овал с более заостренными краями, чем у продолговатого шара. Налицо верное использование методики, выработки движений и правильных навыков. После шаров легко перейти на заостренный овал. Овал этот сначала закрашивается еле видной желтой краской. Сушится. Вновь закрашивается, чуть более желтой — пламя разгорается. Идет огненная эра — батон постепенно поджаривается. Цвет на цвет — он коричневет на глазах. Все это — с перекурами и паузами для иных видов отдыха. Эра огня также знаменует собой повторение в мире всех вещей. В конце этой самой продолжительной эры наступает эра перечеркивания. Эта эра характерна катаклизмами, и только слабоумные думают здесь, что конец света бывает однажды. «А разве потоп не был концом света?» — осведомляется Юрий. В перечеркивающую эру поперек батона наносятся быстрые и энергичные удары кистью с коричневой краской. Коричневые складки — рубцы. Их принято еще называть ребрами батона. Перечеркивающую эру следует создавать со сдвигом во времени. Сблизить временные периоды. Сжать, коллапсировать время! Что и определяет степень катаклизмов: коричневые рубцы растекаются и застывают на наших глазах. Бумага еще не высохла. Мокрая. В какой-то мере она действует как промокашка, но в большей мере это происходит от диффузии красок.

Чудо происходит на глазах у всех. Здесь мы видим рождение чуда в конце! И тот, кто будет до конца... тот и сподобится его увидеть. Итак, налицо два разных чуда. В начале и в конце. Прочитав и представив, начинаешь сомневаться, бывает ли такое? И коль скоро говорилось о чуде мгновенном, как это увязать с созданием батона? Ответ: чудо все равно происходит мгновенно! Хоть в конце, хоть в начале. Вопреки всему! Миг, а дальше — пусть потоп, потому как мир — это не райский сад, а ясли, а люди хуже детей малых сих...

Юрий остался в ночную смену. Ночь прошла суматошно. В соседней комнате много возились, то включали, то выключали «Хитачи». Ходили на улицу и обратно. Одни ушли совсем, другие боролись меж собой, и все вместе — со сном. Наконец, угомонились. Два мальчика и одна девочка. Как ни петушились эти трое друг перед другом, сон одолел их в начале третьего. Ничего не поделаешь — режим! Юрий промучился весь остаток ночи. У бессонницы есть своя особен-

ность — нужда. То писать хочется, то курить, и опять... Настроение дурное. Учительница в качестве контроля. И угнетенность непонятного рода. Единственное слово, подходящее к этому, было «предчувствие». Юрий открыл дверь из своей комнаты. Эта комната — его личная привилегия на время сеансов. Если, как сегодня, он просыпался или вовсе не спал, оказавшись один, он занимал себя рассматриванием молодежи. Вот они спят. Два мальчика и девочка. Спят, раскрывшись, крепко и безмятежно, как в пионерлагере. И только размеры брюка и лифчика говорят о том, что вскорости они станут рабочей, гражданской и семейной силой...

В девять часов утра в дверь настойчиво позвонили, а потом постучали, как полагаются, шесть раз. Это мог быть только Олег Зотов. Это он всегда звонит, а потом стучит условным стуком. Все в нем переменчиво, готово перестроиться... Теперь он стоит за дверями всепонимающий, готовый служить чем может. Звонок напугал художника. Человек, едва задремавший, измученный бессонницей, вставший с воробьями, снова забывшийся и снова открывший глаза, готов умереть от сильного случайного звука. Что чуть и не произошло. Художничек подскочил на месте и, забыв о халате, побежал, наконец, бить морду этому голубю. Ему всегда хотелось это сделать. Он буквально вырвал с замком дверь и... остолбенел. Гусак-гусаком, тощий, во всегдашних синих плавках, Зотов стоял в газовых зеленых шароварах. Зад необъятный, как у толстой турчанки. Голубой пиджак такого фасона, словно бы его калечили-калечили, и снесли во вторсырье. На фиолетовой кофточке с пышными сборками и бантом розовая ручка играла золотой цепочкой, мизинчик — золотым крестиком. У Юрия голова закружилась.

«Ну, привет! Что, мы так и будем стоять здесь? — пропел красивым женским голосом Зотов. — Я сегодня крестился...» Художник попятился за дверь, скрывая срамоту. «Что, вот так? в этом наряде?» — успел сказать он. «А что, нельзя, что ли? Крестили как миленькие». «Погоди немного», — отозвался художничек, и дальнейшим лишь еще раз доказал, кто в доме хозяин. Не в этом доме, а доме вообще. В нашем доме. Так всегда. Сколько б художничек ни пытался, как бы он ни хотел, этот голубчик всегда брал верх. Всегда, везде, во всем!

Художничек явился в халате. Это немного спасало положение. Олег и не собирался присаживаться, он гулял, так сказать, на просвет, в лучах восходящего солнца. К счастью для художника, пришли Батюшкин с Любкой Соркиной. У них ключ. Они открыли осторожно и начали было вкрады-

ваться, как тут же вытаращили четыре одинаковых глаза. Первой опомнилась Любка:

— Ну, ты подумай! Ой, вы мой Батюшкин!

Она любила говорить так при встрече с веселым и невероятным. При этом всегда прижималась плечом.

— Да уж, — отозвался Олег, — я так и думал, что вы придете вместе.

Он презрительно смерил их портновским глазом и протянул Батюшкину папку с бумагами.

— На вот, лучше передай своему батюшке. Он у тебя золото!

Батюшкин, как и художничек, также давно искал повода, чтобы макнуть этого голубя головой в несмытый унитаз. Вот и случай? Но не тут-то было! Пока Батюшкин напрягался, наливался кровью, Олег метнулся к Любке, уложил свою рыжекудрую голову щекой на плечо ее и спросил:

— Чего это он у тебя, а?

И тут же, улыбнувшись, как святой, обнял и поцеловал Батюшкина:

— Ну, поздравляйте же меня, я ведь христианин!

И сунул в нос оступевшему профессорскому сынку золотой крестик.

Что тут оставалось делать? Все любили его, этого рыжего вундера. Не хотели признаться, из ненависти, а — любили.

— И где это тебя так? — нашелся что сказать хмурый солдат — брат народа.

Вопрос был таков, что Зотов тут же заговорил красивым контральто (его кумиром была Елена Образцова):

— Мы с моей француженкой шили все это целую неделю. Кошмар! Ужас какой-то! Измучились. Она шьет — я сплю. Я сплю — она шьет. А ведь еще и папеньке твоему помогал, делал его дела...

— Ну да, ну да, — перебила его Любка, не желая слушать. — А тут тебя маменька искала...

Олег мгновенно побелел. Губы его вытянулись в нитку, сделались как мел.

— Только она и знает, чья она мать! Она давно с ума сошла! Все мы ее дети!

Художничек плохо знал эту историю, к тому же ему тоже хотелось прекратить смотрины.

— У него две мамы, — пояснила Любка.

— Она никакая мне не мать, ты же знаешь! — крикнул совсем по-мужски Олег.

Чувствовалось, что этот здоровенный парень может и кулаком.

— А зачем же ты к ней все время наведишься? — Любка явно шла на попятную.

— Да, кстати, — Олег уже пришел в себя и в свое контрольно, — вчера меня Оля послала опять, чтобы, дескать, излишне не травмировать старушку с манией материнства. Я пришел. У нее опять новый замок. Звоню. Не открывает. Я постоял, подумал и позвонил соседям. Открывают, а сами мнутя. Помялись и говорят: «Она неделю как уже не выходит, стучи крепче». «А что стучать, — говорю, — вы знали? Вон вонюшка какая!» А они и говорят, мол, ты и вызовешь. «Нет, — говорю, — я здесь ни при чем. Вы — соседи, вы и вызывайте первые». Ну, и разошлись. Так что вот.

— Ну, так и что? Взломали?

— Да я еще не знаю. Мы сегодня с маменькой пойдем. Кстати, мне еще и переодеться надо. Мне же в институт. Не пойду же я к ним в таком виде.

Больше всех это известие подействовало на Любку. Она готова была рассказать не только про первую учительницу, но и про всю свою жизнь. Батюшкин немедленно положил всему этому мероприятию конец. Он сместил акцент на Олега, сделав ссылку на авторитетные источники, в том числе и своего отца, — он выразил уверенность в большом будущем этого талантливого Зотова! Предсказал ему великую карьеру.

Плюнул, дунул, да и пригласил впервые на отцовскую дачу. На даче все горемычное порассосалось. До вечера пели и даже танцевали. Стеклянная веранда. Цветы в вазах. Легкое вино из погреба располагало к оптимистической лирике. А ввечеру пошли «на гараж» — они сговорились эту дивную ночь провести на мельзаводе.

Заключительная часть имеет свое название. Вот оно:

ХОЖДЕНИЕ ПО ВОДАМ

Полнолуние. Бледный и яркий свет освещает «орэндж ривэр». Художничек, Батюшкин и Любка готовятся перейти на ту сторону. Замок темнеет четким, слегка фиолетовым контуром. С этой стороны гостей не ждут. Все тихо. На том берегу — высокие старинные деревья, среди которых едва держится ветхий деревянный забор с колючей проволокой. Забор покосился, образовались разрывы. Но с этой стороны никого не ждут. Кто осмелится форсировать рыжую речку? Представить себя в лодке посреди кипящего дерьма — острое чувство, своего рода наслаждение, сравнимое со спасением во

время потопа. Правда, решиться на это дано только избранным. И не на лодке, а пешком: *хождение по водам!*

В ярком свете луны хорошо видны торчащие из дерьма предметы. И надо знать те из них, на которые следует ступать мягко и осторожно. Идти лучше по шинам, попавшим в это русло давным-давно. Шинами бандиты называют полустертые покрышки от МАЗов. Днем и на трезвую голову всего этого никто бы из них не сделал. Да этого иначе, как ночью и таким образом, никто, кроме избранников, и не делал. Все трое успешно достигли заповедного берега. Прекрасно иметь свой замок. Хорошо иметь своего сторожа. Сторож там, у понтонного моста, на воротах. Он часто сдает свои скорбные приношения Любке в обмен на вермут. Человек он не мелочный — три бутылки сверху отдает без колебаний. А если вдруг он появится в их комнатке на мельзаводе, попадется им, или они ему? Узнает и простит. Вот и весь расчет.

Ступив на берег, бандиты вытянулись в длинную цепочку. Где-то сейчас работает работный люд — гражданская, общественная и семейная сила. Не где-то, а по всей стране, только не здесь. Мельзавод полуразрушен, ночная смена отсутствует. Кто-то когда-то утонул в бункере в зерне. Разумеется, свой, а не пришлый, разумеется, опытный и, разумеется, случайно. Надо ведь уметь купаться в зерне на мельзаводе. В пиве — на пивзаводе. В молоке — на молокозаводе. И в шампанском — на строго засекреченном, стратегически важном объекте...

Батюшкина здесь привлекает все. Прежде всего нескончаемые винтовые лестницы и транспортеры. Их ленты тянутся на валках в разные стороны, в непонятных направлениях. В свете карманного фонарика может показаться, что ты на камнедробилке — те же машинное масло и мелкая пыль везде. Отчего мука белая, если кожа на зерне желтая? Потому что внутри больше, чем снаружи. Снаружи человек белый, а перемелешь — красный. Молоть уметь надо! И высоты прельщают редкого монтажника отечественного мата. Мат распался и мелким зерном осыпал всех и вся. Теперь это не мат, а повсеместная загазованность. Все в стропилах и прочей монтажной арматуре. В невидимой высоте, куда не попадает луч фонарика, хлопают крыльями птицы. К этому звуку привыкнуть невозможно. В данной акустике, при данных обстоятельствах это всегда неожиданно. Случается, пролетит, бросаясь из стороны в сторону, летучая мышь. Что-то мяукнет, гавкнет, и постоянно пересыпается что-то. Штаты! Художничек поторапливает Батюшкина спуститься в бомбо-

убежище. Он не разделяет вздорного мнения о Соединенных Штатах Америки. Для него Штаты — это двухэтажные домики-браунстоуны на 52-й стрит, где играли джаз черные и белые. Спокойные фермерские дочки, такие же телушки, как наши. Художничек признает бомбоубежище. У него и ключ. Похоже, что ключа от бомбоубежища у работников мельзавода нет вовсе. Сколько раз банда там бывала — каких-либо посторонних следов после себя не обнаруживала. Там уж и параша в дальней комнатке скопилось столько, что можно бы удобрить целую развивающуюся, дружественную нам страну. Каждый из троих не раз бывал в этой зоне — без сталкера. Чугунную дверь можно открыть и разводным ключом, всего один винт внизу справа, в железном косяке. Откуда в бомбоубежище воздух — непонятно. Все отверстия замурованы. Все трубы: водопроводные, канализационные — обрезаны и завалены. Вентиляции нет и в помине. Загадка! Известно, что красные вина отбивают обоняние, но не до такой же степени, чтобы... И вот бандиты за чугунной дверью. Батюшкин закурил и бросил горящую спичку мимо банки в угол, где стоял мешок с мукой.

— Ты что! — заорала Любка. — Взорвемся же!

— Мука, Любка, не взрывается, — закончил свой ответный мат Батюшкин. — Взрывается пыль. Ты что, в школе все время под партой сидела?

— Я сидела, где хотела, а вот ты куда упал?!

— Эти ваши детские воспоминания трогают. Всегда есть, чего жаль. А где ж улучшенное настроение? где «Рубин»?

— В рюкзаке у профессора...

— За это, Люба, именно за это я...

— Так, чуваки, не пойдет. Пора кончать эту... манеру...

Художничек сказал последние слова явно не своим языком. Губы его едва шевелились. Он уставился в угол, застыл, как парализованный. Любку и Батюшкина пригвоздил к лицу художничка неопишущий страх. Губы художничка продолжали беззвучно шевелиться, руки скрючились на груди, хлеб выпал. Художничек пятился. Двое других боялись оторваться и посмотреть в тот угол, на который сейчас указывал тощий и страшный палец. Наконец, художничек остановился, упершись в запаутиненную шершавую стену. Встряхнув головой, не заметив удара затылком. Поморгал; глаза его сделались красными.

— Ну что, успокоились, наконец? — спросил он, пытаюсь улыбнуться.

Любка и Батюшкин быстро посмотрели в угол. Никого...

— Ох, ты и... — начал Батюшкин.

— Опять ругаетесь? — голос был чужой и громкий.

Рядом с ними возник старик в зеленой бархатной куртке. Вместо глаз из треугольных щелок вылезали жирные черные пиявки. Все тут же оглянулись на дверь. Дверь была распахнута... Первой, как всегда, опомнилась Любка:

— А что, дедушка, вы тут работаете? Вы присаживайтесь, пожалуйста. У нас тут день рождения происходит. Выпейте за мой день рождения. Мне исполнилось двадцать лет. Начался третий десяток. Родители дома спят, а мы здесь, понимаем, лучше...

Она бы и дальше молотила без остановки. Словесный понос. Он сродни обыкновенному, с перепугу. Видя, что со стариком никого нет, все трое заметно приободрились.

— Выпить захотелось, понимаешь, — перебил Любку художничек.

— Я — паралич. Я вас разбить пришел.

— Ну и разбивайте, дедушка, только сначала выпейте за наше здоровье!

— Сначала вы меня послушайте. Я вас долго слушал...

— А чего выслушивать? Пришел — садись, коль не бьют!

— Не бьют? Я стоять буду, а вы ляжете!

— Пейте стоя, пожалуйста! Я Вам подам.

— Знаешь что, старый! Мы тебя сюда не звали и твоих историй не заказывали. Пришел — значит садись! Не сел — уходи! Понял? — Батюшкин взял ключ.

— Я вам расскажу не свою, а вашу историю. Откуда и куда. Откуда взялись ваши родители, кто были их родители. Я всю знаю и все расскажу! Вы увидите их, как себя!

— Да ну его! — сказала Любка, пытаясь вырвать у вставшего Батюшкина железяку.

Все трое отвернулись, давая понять, что разговор окончен. Стало тихо. Оглянувшись, они никого не обнаружили. Двери были закрыты...

— Это что же, групповая галлюцинация? — спросила Любка, поеживаясь от холода.

— Массовый паралич, — отозвался художничек.

— Ну и пошли отсюда! — Любка стала собирать рюкзак.

— Ногу отсидел... — сказал Батюшкин и осекся.

— У меня у самой ноги что-то замерзли...

Возвращались молча. Тем же путем, что и пришли, — по МАЗовским покрывкам в кипящем дерьме. Поднимался пар. Напряжение и усталость в ногах чуть было не стоили жизни. Нога художничка сорвалась, и он чудом успел опереться на край ржавой детской кровати. Батюшкин дернулся на по-

мощь. Любка забалансировала на одной ноге, потеряв из виду куда ступить.

Когда выбрались на берег, всех троих била лихорадка. — Там метра два ила и трясина... — сказал художничек.

— Я эти места с детства знаю. Правду говорит. Если бы ты сорвался, все бы мы туда... Раскачало бы...

Художничек стащил с себя зловонный ботинок, зацепив за толстую проволоку, торчащую в кустах возле осоки, и швырнул его в воду. Дальше пошли обнявшись. Любка с рюкзаком — посередине, Батюшкин — справа, художничек — слева. С реки тянуло удушающим туманом. Невероятным образом оставшиеся жить, квакали лягушки. В дерьме что-то плескалось. Луна продолжала светить, не мигая: облака проплывали стороной, не закрывая ее.

В ивняке проснулись, присвистнули и сорвались две птички. Слева, недалеко от дороги, тлел костер. У костра стояли перс и полуармянка.

— Что, русские богатыри, пришлепали? А ботинок рыбкам скормили? Развонялись-то как! Заразные поди...

Гаяне придалась к Хафизу. Хафиз осторожно и с достоинством держал ее за тонкую талию.

— Вам, татарам, не понять!

— А, может, вам?! — Хафиз освободил руки.

— Вам тоже! — отрезала Любка.

Развернула своих приятелей, и всей бандой они отправились «на гараж»...

Сергей САМОЙЛЕНКО

* * *

Вези меня, слепой таксист,
по улочкам, по закоулкам.
Пусть музыкальная шкатулка
играет заунывный твист
на тему незабвенной мурки.

Вези меня, слепой таксист!
Вези меня, шофер слепой,
по закуткам отчизны спящей,
пусть долгий музыкальный ящик
играет мне заупокой
любви былой и настоящей.
Вези меня, шофер слепой!

Гони, ямщик, во весь опор
по столбовой, по автостраде,
пусть радио за Бога ради
играет вслух про мой костер.
Гони, мы как-нибудь поладим,
гони, ямщик, во весь опор!

Извозчик, жми по осевой!
Дави на газ, крути баранку
под застарелую шарманку,
ведущую мотив простой,
но вывернутый наизнанку,
про то, как ехала домой...

Гони, куда глядят глаза,
гони, лихач, не надо сдачи!
Пускай ты слеп, а я тем паче.
Вези меня на небеса,
где ангелы поют и плачут:
шофер, нажми на тормоза!

Вези меня туда, таксист!
Ты превышаешь скорость света
зеленого. Смени кассету,
пускай безрукий гармонист
про то, что счастья в жизни нету,
играет и поет на бис.
Вези меня, слепой таксист!

* * *

Эта ночь не черней чернослива,
начиненного битой звездой,
и, пожалуй, не столь прозорлива,
как астроном с трубой смотровой.
Воробьиного клюва короче,
комариного носа острей,
пересыпана солью отточий
и толченым стеклом фонарей.

Эта ночь в подворотне рабочей
не косметикой брови сурьмит,
по песочницам млечным хлопочет,
на разрезе черметом гремит.
Рубит каменный уголь, который,
убывая летит к небесам,
из-под ног вышибая опору,
наступает на пятки лесам.

Эта ночь — лабиринт червоточин,
выгрызаемых детским совком,
печки-лавочки, ключик-замочек,
террикон за ближайшим углом.
Не чернее, чем смена ночная,
не черствей, чем незрячий забой,
эта ночь, нарочито слепая,
как астроном с трубой смотровой.

* * *

В моментальной вспышке блица
проливная бахрома,
как живая, шевелится,
и ложится на ресницы
осязаемая тьма.

Замерев в нелепой позе,
я запомнил назубок:
удаляющийся поезд
поле зренья пересек.

Я стою, лица не пряча,
взмах руки остановив,
и гляжу сквозь мрак незрячий
в наведенный объектив.

И стою я, как на плахе,
с опрокинутым лицом,
на засвеченной бумаге,
как трава перед листом,

на заплаканном перроне,
в эпицентре пустоты,
и гляжу на свет в вагоне,
на последнем перегоне
обогнавшей свет звезды.

* * *

Храни боеготовность языка,
как боевое знамя части речи,
как щит и меч, как суффикс -вчк-
на черный день или на красный вечер.
Будь начеку, коли-руби, чик-щик,
патрон в патронник, ключик и замочек.
Пустить в расход или поднять на щит,
на штык, который носа не подточит.
Храни орфографический словарь,
как боевое знамя, вымя, семя,
как часовой — часовню; как вратарь —
ворота в дополнительное время.
Простое совершенное. Встань в строй,
вооружись таблицами спряжения,
как штык, как щит и меч, как часовой,
как город на военном положении.
Будь бдителен, держи в уме пароль,
рот на замке и руку на затворе,
из лексики выпаривая соль,
из синтаксиса вырывая корень.
Стой, кто идет? Кого-чего, тук-тук!
Твой враг, язык — ча-ща — он и обрящет
на вкус, на цвет, на шорох и на звук
глухой, ортопедический, свистящий.

ГЕРБАРИЙ

Ты — собиратель трав целебных, ты вышел рано, до звезды,
но ты не знаешь поименно ни мяты и ни резеды.

Ты составляешь свой гербарий, и безымянная трава,
встающая тебе навстречу, натянута, как тетива.

Ни горичвет, и ни крапива, и ни горчайшая полынь
перед тобой не виновата, что ты не знаешь их латынь.

Ни хладнокровный подорожник, ни осторожный зверобой
перед тобой уже не встанут, как лист встает перед травой.

На голос твой не отзовется ни одуванчик, ни кипрей,
разрыв-трава тебя забудет, хотя любила всех сильнеей.

И ни аптечная ромашка, и ни дубовая кора
тебе помочь уже не могут, тебя спасти уже нельзя.

И ни плакун-трава, ни клевер тебя уже не воскресят,
они стоят к тебе спиною и ничего не говорят.

А ты идешь по травостою, и сапоги твои в росе,
и за тобой косцы слепые идут с улыбкой на лице.

А за тобою остается трава, упавшая ничком,
она глядит тебе в затылок и в спину дышит горячо.

Но ты прощения не просишь у этой скошенной травы,
и ничего понять не хочешь, и не склоняешь головы.

И ты ведешь косцов похмельных, и твой гербарий при тебе,
но кроме гордости смертельной — нет ничего в твоём гербе.

Александр ПОКРОВСКИЙ

ФРЕЙЛИНА ДВОРА

— Лий-ти-нант! Вы у меня будете заглядывать в жерло каждому матросу!

Командир — лысоватый, седоватый, с глазами навывкате — уставился на только что представившегося ему, «по случаю дальнейшего прохождения», лейтенанта-медика — в парадной тужурке, — только что прибывшего служить из Медицинской Академии.

Вокруг — пирс, экипаж, лодка.

От такого приветствия лейтенант онемел. Столбовой интеллигент: прабабка — фрейлина двора; дедушка — академик вместе с Курчатовым; бабушка — академик вместе с Александровым; папа — академик вместе с мамой; тетка — профессор и действительный член, еще одна тетка — почетный член! И все пожизненно в Британском географическом обществе!

Хорошо, что командир ничего не знал про фрейлину двора, а то б не обошлось без командирских умозаключений относительно средств ее существования.

— Вы гов-но, лейтенант! — продекламировал командир. — Повторите!

Лейтенант — как обухом по голове — повторил.

— Вы говно, лейтенант, повторите!

Лейтенант опять повторил.

— И вы останетесь гов-ном до тех пор, пока не сдадите на допуск к самостоятельному управлению отсеком. Пи-ро-го-вым вы не будете. Мне нужен офицер, а не клистирная труба! Командир отсека — а не давящий клопов медик! Вы научитесь ползать, лейтенант! Ни-ка-ких сходов на берег! Жену отправить в Ленинград. Жить на железе. На же-ле-зе! Все! А теперь поздравляю вас со срочным погружением в задницу!

— Внимание личного состава! — обратился командир к строю. — В наши стройные ряды вливается еще один... обманутый на всю оставшуюся жизнь. Пе-ре-д вами на-ша ме-ди-ци-на!!!

Офицеры, мичмана и матросы изобразили гомерический хохот.

Командир еще что-то говорил, прерываемый хохотом масс, а лейтенант отключился. Он стоял и пробовал как-то улыбаться.

Под музыку можно грезить. Под музыку командирского голоса лейтенанту грезились поля навозные.

Молодой лейтенант на флоте беззащитен. Это моллюск, у которого не отросла раковина. Он или погибает, или она у него отрастает.

«Офицерская честь» — павший афоризм, а слова «человеческое достоинство» вызывают у офицеров дикий хохот; так смеются пьяные проститутки, когда с ними вдруг говорят о любви.

Лейтенант-медик — рафинированный интеллигент — его шесть лет учили, все это происходило на «вы», интернатура, полный дом академиков — решил покончить с собой — пошел и наглотался таблеток. Еле откачали.

Командира вызвали к комдиву и на парткомиссию.

— Ты чего это... старый, облупленный, седоватый, облезлый, лупоглазый козел, лейтенантов истребляешь? Совсем нюх потерял? — сказал ему комдив.

То же самое, только в несколько более плоской форме, ему сказали на парткомиссии и вклеили выговор. Там же он узнал про чувство собственного достоинства у лейтенанта, про академиков, Британское географическое общество и фрейлину двора.

Командир вылетел с парткомиссии бешеный.

— Где этот наш недолизанный лейтенант? У них благородное происхождение! Дайте мне его, я его долижу!

И обстоятельства позволили ему долизать лейтенанта.

— Лий-ти-нант, к такой-то матери, — сказал командир по слогам, — имея бабушку, про-с-ти-ту-т-ку двора Ее Величества и Британских географических членов со связями в белой эмиграции, нужно быть по-л-ны-м и-ди-о-то-м, чтобы попасть на флот! Флот у нас — рабоче-крестьянский! А подводный — тем более. И служить здесь должны рабоче-крестьяне! Великие дети здесь не служат! Срочные погружения не для элиты! Вас обидели? Запомните, лейтенант! Вам за все заплачено! Деньгами! Продано, лейтенант, продано! Обманули и продали. И нечего тут девочку изображать. Поздно! Офицер, как ра-бы-ня на помосте, может рыдать на весь базар — его никто не услышит. Так что ползать вы у меня будете!

Лейтенант пошел и повесился. Его успели снять и привести в чувство.

Командира вызвали и вставили ему стержень от земли до неба.

— А-а-а, — заорал командир, — х-х-х, так!!! — и помчался доставать лейтенанта.

— Почему вы не повесились, лейтенант? Я спрашиваю, почему? Вы же должны были повеситься? Я должен был прийти, а вы должны были уже висеть! Ах, мы не умеем, нас не научили, бабушки-академики, сифилитики с кибернетиками. Не умеете вешаться — не мусольте шею! А уж если прищичило, то это надо делать не на моем экипаже, чтоб не портить мне показатели соцсоревнования и атмосферу охватившего нас внезапного всеобщего подъема! ВОН ОТСЮДА!

Лейтенант прослужил на флоте ровно семь дней! Вмешалась прабабушка — фрейлина двора, со связями в белой эмиграции, Британское географическое общество, со всеми своими членами; напряглись академики, и он улетел в Ленинград... к такой-то матери...

ЗЕРНО ЛОМБАРДНОЕ

Матрос Вова Квочкин, маленький, шупленький паренек — негодяй, разгильдяй и фантастическая сволочь — подал рапорт по команде о своем желании поступить в Высшее политическое училище в городе-герое Киеве.

Зам подмахнул не глядя его каракули и срочно оттащил рапорт к начальнику политотдела, который еще неделю назад вещал и взывал ко всем заместителям по поводу проведения среди личного состава необходимой работы на предмет поступления в высшее училище замполитов в городе Киеве.

Время уходило, план срывался, а кандидатов не наблюдалось. Рапорт Квочкина явился как нельзя более кстати. Конечно, он не поступит, но массовость создаст.

Начпо из-за необходимости в быстроте решения прочитал только первую строчку рапорта, написанного корявым почерком первоклассника, и заметил только, что курица левой лапой написала бы лучше.

Одолев только одну строчку из всей бумаги, начпо совершенно потерял терпение, подмахнул рапорт и пошел к комдиву.

— Вот, Александр Александрович, — сказал начпо комдиву и протянул рапорт торжественно, как принц руку для целования, — люди желают учиться в политическом училище.

Комдив надел очки, горестно вздохнул, сел в кресло поудобней и неторопливо погрузился в писанину. Он всегда неторопливо, до последней запятой, читал то, что визировал.

Прочитав, комдив с интересом глянул на начпо снизу вверх, снял очки, вытер глаза, сделал на лице скорбь и сказал:

— А ты, небось, до конца-то опять не прочитал, а?

— А чего там? — Начпо забеспокоился, взял рапорт и начал читать: — Прошу направить меня для поступления в Киевское училище... так, ну и что?

— Дальше, дальше...

— Так как я хочу стать политработником...

— Еще дальше...

— Носителем наших идеалов...

— Дальше...

— И стоять у распределения материальных благ...

— Вот оно! — сказал комдив. — Вот оно, зерно ломбардное! Прикажете сплясать? Это тебе не лифчики по командиршам распределять!

Начпо налился соком и прошипел:

— От, скотина!

— Вот именно, — сказал комдив и тут же перестал интересоваться начпо. Дел было по горло.

СВЯТЕЕ ВСЕХ СВЯТЫХ

После того как перестройка началась, у нас замов в единицу времени прибавилось.

Правда, они и до этого на экипажах особенно не задерживались — чехардились, как всадники на лошади, а с перестройкой ну просто как перчатки стали меняться: полтора года — новый зам, еще полтора года — еще один зам, так и замелькали. Не успеваешь к нему привыкнуть, а уже замена.

Как-то дают нам очередного зама из академии. Дали нам зама, и начал он у нас бороться. В основном, конечно, с пьянством на экипаже. До того он здорово боролся, что скоро всех нас подмял.

— Перестройка, — говорил он нам, — ну, что не понятно?

И мы свою пайку вина, военно-морскую — пятьдесят грамм в море на человека — пили и помнили о перестройке.

И вот выходим мы в море на задачу. Зам с нами в первый раз в море пошел. Во всех отсеках, как в картинной галерее, развесил плакаты, лозунги, призывы, графики, экраны соцсоревнования. А мы комдива вывозили, а комдива нашего, контр-адмирала Батракова, по кличке «Джон — вырви глаз», на флоте все знают. Народ его иногда Петровичем называет.

Петрович без вина в море не мог. Терять ему было нечего — адмирал, пенсия есть, и автономок штук двадцать — так что употреблял.

Это у них в центре там перестройка, а у Петровича все было строго — чтоб три раза в день по графину. Иначе он на выходе всех забодает.

Петрович росточка махонького, но влить в себя мог целое ведро.

Как выпьет — душа-человек!

Сунулся интендант к командиру насчет вина для Петровича, но тот только руками замахал — иди к заму.

Явился интендант к заму и говорит:

— Разрешите комдиву графин вина налить?

— Как это, «графин»? — зам даже обалдел. — Это что, целый графин вина за один раз?

— Да, — говорит интендант и смотрит преданно. — Он всегда за один раз графин выдувает.

— Как это, «выдувает»? — говорит зам возмущенно. — У нас же перестройка! Ну, что не понятно?

— Да все понятно, — говорит интендант, а сам стоит перед замом и не думает уходить, — только лучше дайте, товарищ капитан третьего ранга, а то хуже будет.

У интенданта было тайное задание от командира: из зама вино для Петровича выбить. Иначе, сами понимаете, жизни не будет.

— Что значит «хуже будет»? Что значит «хуже будет»? — спрашивает зам интенданта.

— Ну-у, товарищ капитан третьего ранга, — заканючил интендант, — ну пусть он напьется...

— Что значит... послушайте... что вы мне тут? — сказал зам и выгнал интенданта.

Но после третьего захода зам сдался — черт с ним, пусть напьется.

Налили Петровичу — раз, налили — два, налили — три, а четыре — не налили.

— Хватит с него, — сказал зам.

Я вам уже говорил, что если Петрович не пьет, то всем очень грустно становится.

Сидит Петрович в центральном, в кресле командира, невыпивший и суровый, и тут он видит, как в центральный зам вползает. А зам в пилотке. У нас зам считал, что настоящий подводник в походе должен в пилотке ходить. С замами такое бывает. Это он фильмов насмотрелся.

В общем, крадется зам в пилотке по центральному. А Петрович замов любил, как ротвейлер ошейник. Он нашего прошлого зама на каждом выходе в море гноил нещадно. А тут ему еще кто-то настучал, что это зам на вино лапу

наложил. Так что увидел Петрович зама и, вы знаете, даже ликом просветлел.

— Ну-ка ты, хмырь в пилотке, — говорит он заму, — ну-ка, плыви сюда.

Зам подошел и представился. Петрович посмотрел на него, снизу вверх мутным глазом, как медведь на виноград, и говорит:

— Ты на самоуправление сдал?

— Так точно, — говорит зам.

— Ну-ка, доложи, это что? — ткнул Петрович в стяжную ленту замовского ПДУ.

Зам смотрит на ПДУ, будто первый раз его видит, и молчит.

— А вот эта штука, — тыкает Петрович пальцем в регенерационную установку, — как снаряжается?

Зам опять — ни гугу.

— Т-а-к! — сказал Петрович, и глаза его стали наливать-ся дурной кровью, а голова его при этом полезла в плечи, и тут зам начинает понимать, почему говорят, что Петрович забодать может.

Приблизил он к заму лицо и говорит ему тихо:

— А ну, голубь лысый, пойдём-ка, по устройству корабля пробежимся.

И пробежались. Начали бежать с первого отсека, да в нем и закончили. Зам явил собой полный корпус — ни черта не знал. Святой был — святее всех святых.

В конце беседы Петрович совсем покраснел, раздулся, как шланг, да как заорет:

— Тебя чему учили в твоей академии? Вредитель! Газеты читать? Девизы рожать? Плакаты эти ссранные рисовать? А, червоточина? Ты чего в море пошел, захребетник? Клопа давить? Ты — пустое место! Балластина! Пассажир! Памятник! Пыль прикажете с вас сдувать? Пыль?! Влажной ветошью, может, тебя протирать? А, бестолочь? На хрена ты здесь жрешь, гнида конская, чтоб потом в галльон все отнести? Чтоб нагадить там? А кто за тебя унитаз промоет? Кто? Я тебя спрашиваю? У него ведь тоже устройство есть, у унитаза! Здесь знать надо, знать! Ты на лодке или в почетном президиуме, пидорасина? А при пожаре прикажете вас в первую очередь выносить? Спасать вас прикажете? Разрешите целовать вас при этом в попку? Ты в глаза мне смотри, куль с говном! Как ты людей за собой поведешь? Куда ты их приведешь? А если в огонь надо будет пойти? А если жизнь отдать надо будет? Ты ведь свою жизнь не отдашь, не-ет! Ты других людей заставишь за тебя жизнь отдавать! В глаза

мне смотреть! Зачем ты форму носишь, тютя вонючая! Погопы тебе зачем? Нашивки тебе кто дал? Какая... тебе их дала?! Пилотку он одел! Пилотку! В батальон тебя надо! В эскадрон! Коням! Коням яйца крутить! Комиссары...

Зам вышел из отсека без пилотки и мокрый — хоть выжимай. Отвык он в академии от флотского языка. А впрочем, может, и не знал он его вовсе.

Вечером Петровичу налили. Петрович выпил и стал — душа-человек!

КАК ТВОЯ ФАМИЛИЯ?

Чего наш советский офицер боится? Он боится жену: она навредить может; тещу, соседей, милицию, советских граждан на улице и в транспорте; хулиганов: они по морде могут дать, и свое начальство.

А чего наш советский офицер совсем не боится? Он совсем не боится мирового империализма.

А чего он боится больше всего? Больше всего он боится своей фамилии.

Возьмите любого офицера на улице за верхнюю пуговицу и спросите его:

— Как ваша фамилия?

— Мо... я?

— Да, да, ваша, ваша, ну?

— Этот... как его... Иванов... или нет... то есть... Петров...

— А может, Сидоров?

— Точно! Сидоров, — от настоящего офицера его собственной фамилии на улице никогда не дождешься.

Первый страх у него уже прошел, теперь будьте внимательны.

— Разрешите ваши документы...

Документы от него вы не получите: может, вы скрытый офицерский патруль? Так зачем же ему усложнять себе жизнь? Нет у него документов.

— Дома забыл, — вот так, а вы как думали?

— А пропуск у вас есть?

— Какой пропуск?

— Ну, любой пропуск, где написана ваша фамилия.

— Пропуск у нас есть, но в руки вам его не дам: там не написано, что его в руки можно давать.

А сейчас он от вас убежит, вот смотрите:

— Ой!!! — кричит он и делает испуганное лицо. — Осторожно! — и хватает вас за рукав, увлекая за собой. При этом

он смотрит вам за ухо так, словно сзади вас именно в этот момент переезжает автокар.

Вы инстинктивно оборачиваетесь; ничего там сзади нет, а офицер уже исчез. Пуговицу себе срезал, за которую вы держались, и исчез. Можете ее сохранить на память.

Мой лучший друг, Саня Гудинов — редкий интеллигент, два языка, — когда его вот так берут на улице, напускает на себя дурь, начинает заикаться и называет себя так:

— Го... го... гоша... Го... го... го... лованов!

Патруль тут же прошибает слеза от жалости к несчастному офицеру-заике, и он от него отстает: грех трогать калеку.

— Заикой меня делает служба, — говорит в таких случаях Саня.

Но лучше всего действует напористый нахрап, ошеломляющая наглость и фантастическое хамство.

Вот мой любимый рыжий штурман, который вошел в мое полное собрание сочинений отдельной главой, тот полностью согласен с Конечким: с патрулем спорят только салаги.

— Главное в этом деле, — любил повторять рыжий, — четко представиться. Чтоб не было никаких дополнительных вопросов.

— Туполев! — бросал он патрулю с бодрой наглостью. — Я. К., ве-че сорок ноль сорок.

И патруль усердно записывал: Туполев, ЯК-40...

Только полные идиоты требовали от него документы: штурман обладал монументальной внешностью, и его ужасные кулаки сообщали любому врожденное уважение к ВМФ!

Должен вам заметить, что страх перед своей фамилией, или лучше скажем, бережное к ней отношение — это условный рефлекс, воспитываемый в офицере самой жизнью с младых ногтей: начиная с курсантских будней.

— Товарищи курсанты, стойте! — останавливал нас когда-то дежурный по факультету. — Почему без строя? Почему через плац? Почему в неполюженном месте? Фамилии? Рота?

Этот дежурный у нас был шахматист-любитель. Страсть к шахматам у него была патологической. Кроме шахмат он ничего не помнил и рассеянный был — страшное дело! А все потому, что он в уме все время решал шахматные кроссворды. Но главное: он был начисто лишен фантазии, столь необходимой офицеру. Полета у него не было.

— Курсант Петросян, — прогундосил Дима, стараясь походить на армянина.

— Курсант Таль, — поддержал его Серега.

Мне пришлось сказать, что я — Ботвинник, чтоб не выпасть из общего хора.

Дежурный, ни слова не говоря, нас задумчиво записал и отпустил. Наверное, перед ним в этот момент явился очередной кроссворд.

Когда он доложил начальнику факультета, что у него Таль, Петросян и Ботвинник пересекли плац в неподобающем месте, то наш славный старый волкодав воскликнул:

— Хорошо, что не Моцарт и Сальери! Твердопятаев, ковырять ты некому; я когда на тебя смотрю, то сразу вспоминаю, что человек — тупиковая ветвь эволюции. Ты со своими шахматами совсем дошел. Очумел окончательно. Рехнешься скоро. Что за армейский яйцеголовизм, я тебя спрашиваю? Прочитай еще раз, я еще раз эту музыку послушаю, и ты сам, когда читаешь чего-нибудь, ты тоже слушай, чего ты читаешь. Это иногда даже очень интересно! Ну, начинай!

И тот прочитал снова.

— Понял?

— Понял.

— Вот до чего дошло. Видишь? Мой тебе совет: забудь ты свои шахматы. Они ж тебя до ручки доведут. А теперь давай, иди... Знаешь куда?

Тот кивнул.

— Вот и давай, двигай с максимально-малозумной скоростью, остороженько, не заезжая в кусты. И не буди во мне зверя... Ботвинник...

ГДЕ ВЫ БЫЛИ?

— Где вы были?

— Кто? Я?

— Да, да, вы? Где вы были?

— Где я был?

Комдив раз — командир первого дивизиона — пытается Колю Митрофанова, командира группы.

— Я был на месте.

— Не было вас на месте. Где вы были?

Лодка только прибыла с контрольного выхода перед автономкой, и Колюня свалил с корабля прямо в ватнике и маркированных ботинках. Еще вывод ГЭУ не начался, а его уже след простыл.

— Где вы были?

— Кто? Я?

— Нет, вы на него посмотрите, дитя подзаборное, да, да, именно вы, где вы были?

— Где я был?

Колюша на перекладных был в Мурманске через три часа. Просто повезло, юноше бледному. А в аэропорту он был через четыре часа. Сел в самолет и улетел в Ленинград. Ровно в 7 утра он был уже в Ленинграде.

— Где вы были?

— Кто? Я?

— Да, да! Вы, вы, голубь мой, вы — яхонт, где вы были?

— Я был где все.

— А где все были?

Шинель у Коленьки висела в каюте; там же ботинки, фуражка. Его хватились часа через четыре. Все говорили, что он здесь где-то шляется или спит где-то тут.

— Где вы были?

— Кто? Я?

— ДА! ДА! ВЫ! Вы — сука, где вы были?

— Ну, Владимир Семенович, ну что вы в самом деле, ну где я мог быть?

— Где вы были, я вас спрашиваю?!

За десять часов в Ленинграде Коля успел: встретить незнакомую девушку, совершить с ней массу интересных дел и вылететь обратно в Мурманск. Отсутствовал он, в общей сложности, двадцать часов.

— Где вы были, я вас спрашиваю?!

— КТО? Я?

— Да, сука, вы! Вы, кларнет вам в ж...! Где вы были?

— Я был в отсеке.

Комдив чуть не захлебнулся.

— В отсеке?! В отсеке?! Где вы были?!!!

И я ушел из каюты, чтоб не слышать эти вопли Венского леса.

НОЧЬ

Ночь, старая чертовка, подползла и приникла к иллюминатору. Через открытую дверь железом и йодом дышал Тихий океан. В рубке распорядительного дежурного, за стеклом, выхваченный лампой из мрака, как редкое тропическое земноводное, мучился лейтенант. Два часа ночи. Лейтенанту катастрофически хотелось спать. Он терял сознание. Голова опускалась на стол, как ведро в колодец, рывками, все ниже и ниже; покидаемое мыслью тело билось в конвульсиях, стараясь устроиться поудобней. Голова добилась своего — биллиардно ударилась лбом о стол. Брызнули искры, лейтенант пришел в сознание и бешено оглянулся на дверь. Ему пока-

залось, что в дверь кто-то лезет, черный, толстый. Фу ты, черт! Он остервенело помял лицо ладонями, но как только лицо его осталось в покое, сознание закатилось и голова рухнула снова.

Телефонный звонок расколол ночь.

— Да... — осипшим со сна голосом отозвался лейтенант.

— Что «да»? Чем вы занимаетесь? — спросила трубка.

— Двадцать два, двадцать три, лейтенант Петренко, слушаю вас, — поправился дежурный. Сон отлетел, голова прояснела.

— Ну то-то, — смиловивилась трубка, — где у вас командир дивизии?

— На месте... то есть дома.

— А начштаба, начпо... эти тоже по домам?

— Так точно!

— А где экипаж Петрова?

— В море.

— Когда приходят?

— Через месяц, наверное.

— Так, ладно, подождем; а экипаж Жукова, я слышал, прибыл с контрольного выхода?

— Так точно!

— Замечаний нет?

— Никак нет!

— Когда они за угол?

— Точно не известно, но где-то четвертого.

— Боеготовность кораблей?

Лейтенант перечислил.

— А с кем я разговариваю? — наконец-то сообразил он.

— С резидентом японской разведки, — отчеканила трубка и заморзачила многоточием.

Все! Жизнь кончилась. Лопнула в барабанных перепонках. Вокруг плыла ослепительная тишина. Черные тиски сдавили бедную человеческую душу. Все! Продано! Он продал. Всех. Позор! Позор, вонючий, липкий, как лужа под себя. Лейтенант рванул ворот, он тонул в испарине; китель противно лип к телу; руки дрожали, пальцы выплясывали. Лейтенант расстегнул кобуру, вытащил пистолет и, положив на стол, ошалело уставился перед собой. Холодное дуло коснулось виска, подбородок затрясся. Сейчас, сейчас... В горле царапался колючий язык. Сейчас... Главное, с предохранителя, главное... Он... сейчас... Он сделает... сможет...

Кто-то ворвался в рубку, схватил его за руку, за плечи и закричал. Он не слышал, не видел, не понимал. Наконец он

узнал его. А-а, однокашник. Да, вместе учились. Как сквозь пелену до него донеслись крики:

— ... ты что? Это ж я был... это я был сверху... с верхней палубы... там есть телефон... ты что?

Лейтенант затрясся плечами, его колотило, било беззвучно. Потом он плакал: мокрый, маленький, жалкий... Он все время тянул носом. Слезы оставляли грязные полосы...

Таяла ночь. Равнодушный рассвет гнал в открытую дверь сырость. Было серо и холодно, дышалось с трудом, и на дне каждого вдоха собиралась усталость.

ГЛУХОНЕМОЙ

Начальству иногда становится нечего делать, и тогда оно, начальство, идет гулять, чтоб, скорее всего, послушать свой внутренний голос. Древние полководцы гуляли только поэтому. И если во время прогулки начальству встретится подчиненный, оно будет мучиться и вспоминать: что же оно до подчиненного еще не довело?

И даже если оно не будет мучиться, все равно встречаться с начальством вредно.

Адмирал шел и думал о том, как все-таки мало осталось служить...

— А жаль, — буркнул он вслух, — сколько бы еще... наворотил.

— А впрочем, жить осталось еще меньше, — продолжал мыслить адмирал. И в этот момент он увидел матроса; тот глотал слюну и готовился отдать честь.

Чужое волнение всегда бодрит. Адмирал почувствовал бодрость и захотел поговорить с народом.

— Почему не стрижен? — громко спросил адмирал и добавил почти по-человечески:

— Как фамилия? Из какой части?

Матрос скривил запотевший рот, вытаращил глаза, судорожно повел руками, сунул палец в рот, зачем-то облизал его и загугукал — глухонемой.

— О господи! Кого только не присылают на флот! — огорчился адмирал. Ему как-то не хотелось сразу смириться с мыслью, что человек может потерять дар речи не от встречи с ним, а просто так — от рождения.

Он начал вспоминать, что ему известно из азбуки глухонемых, и ничего не вспомнил.

— Ну-ка, голубь, пойдём-ка, — сказал адмирал. Он взял матроса за руку и повел за собой.

Адмирал привел его к себе в кабинет и усадил напротив. Помолчали.

— Интересно, чей он? — думал адмирал. — Нужно собрать всех...

И собрал всех своих подчиненных. Когда все расселись, он спросил у всех:

— Чей это матрос? — и ткнул пальцем в глухонемого. Матрос тупо смотрел перед собой, чему-то улыбался и время от времени гукал.

Молчание подчиненных потихонечку надоело адмиралу. Он поднял каждого и спросил:

— Твой?!

— Нет, — ответил каждый.

— Посидим, — предложил адмирал, — может вспомним?

Других предложений не поступило. Вспоминали до полуночи. С каждым часом все напряженной. Подчиненные ерзали на стульях.

— А-а, сволочи! — злорадствовал про себя адмирал, — Не нравится?

Ровно в полночь матрос гукнул в последний раз, встал и сказал:

— Я из кочегарки. Мне на вахту пора.

Адмирал открыл свой самый злобный глаз и сначала привоздил им, а затем поднял съезжившегося начальника тыла.

— Врет! Он всё врет. Своих всех знаю, — зачастил начальник тыла и прижал для чего-то руки к груди.

— А может, это диверсант? — предположили бдительные. Бдительные не спали — бдили.

«Идиоты», — покосился на бдительных адмирал, а вслух сказал:

— Очень может быть.

— Я ночью в кочегарке, а днем — сплю, поэтому меня никто не знает, — затараторил матрос.

— Понятно, — вздохнул адмирал, — поэтому-то ты и не стрижен. Всем ясно, почему он не стрижен?

— Ясно, — ответили все и как-то сразу поднялись.

— Сидите-сидите, — ядовито улыбнулся адмирал, — я еще не кончил.

Кончил он глубоко за полночь, когда прочно всадил в каждого чувство вины. Кончать в таких случаях особенно приятно.

— Ну и рожи у них были, — хмыкнул адмирал уже под одеялом, — о-от сволочи!..

«ВОЛГА» ГЛАВКОМА

«Волга» главкома, а за ней еще штук пять со свитой окружили крыльцо, как стая акул зеленую черепаху.

Главком выполз. Его встретили, проорали: «Смир-но!» — и повели по лестнице.

Кронштадский центр подготовки молодого пополнения лизали неделю. Теперь всех разогнали по углам. Перед каждой дверью в каждое ротное помещение поставили задерганных начальников курсов, чтоб они открывали двери и представлялись. Они открывали и представлялись деревянными языками, сдерживаясь, чтоб от страха что-нибудь не заорать, не соответствующее моменту.

Громадный Федя Кудякин, по кличке «Шкаф», начальник курса и капитан третьего ранга, стоял на втором этаже перед дверью в ротное помещение, расположенное как раз над тем крыльцом, где высадился главком.

Федю трясло от нетерпения: у него дрожали губы, руки, ноги, а мысли, совершив небольшую пробежку, как собаки на цепи, возвращались в голову.

Вот сейчас должен появиться главком, вот сейчас!

Федя в полуобмороке прислонился к двери, за которой все блестело, как у кота соответствующее место.

В пролете показалась голова в фуражке, послышалось старческое кряхтение и шелест свиты:

— Идет!!!

Судорожный вдох — и Федя мгновенно рванул дверь, распахнул ее и уже собирался вспомнить свою фамилию, как за дверью он увидел ее: гирию... 32 кило!

Чче-ерт! Носили по кубрику, обняв как маму, не знали, куда сунуть, и оставили. Ну, Петров, пицунда мохнатая, я тебе сделаю!

Федя схватив гирию одной рукой, надломился в спине со слезой, поднял ее и... выкинул в открытое окошко. Внизу что-то квакнулось — ладно, потом!

Федя успел-таки обернуться и представиться главкому. Главком ничего не заметил. Вот что значит быстрота!

Главком уже прошел мимо Феде, когда раздался этот вой. Выли из окошка. Выли так, будто скальп снимали. Некстати, черт! Федя поморщился.

Главком удивился, повернулся и посмотрел на Феде. Началось адмиральское разглядывание. Только наши адмиралы так разглядывают офицеров — запрокинув голову, как редкое насекомое.

Они лупоглазили друг на друга до тех пор, пока Федя не выдержал:

— Товарищ Адмирал Флота Советского Союза, — пропел он, — разрешите обратиться?

— Разберитесь, — кивнул главком.

Федя чуть не выпал со всего маху, до того перегнулся через подоконник.

Гирия попала на «Волгу» главкома и прошла ее насквозь, а в ней сидел матрос-водитель и, в состоянии хамского расслабления, мечтал о демобилизации.

Гирия прошла у него перед носом, не задев ни капли. Матрос обгадил себя и все вокруг в радиусе пяти метров, выплеснув в окна. Потом он выполз из машины на карачках и, оознав, что жив, заорал, как ненормальный.

Все.

«РАССТРЕЛЯТЬ!»

Утро окончательно заползло в окошко и оживило замурованных мух; судьба считывала дни по затасканному списку, и комендант города Н., замшелый майор, чувствовал себя как-то печально, как, может быть, чувствует себя отслужившая картофельная ботва.

Его волосы, глаза, губы-скулы, шея-уши, руки-ноги — все говорило о том, что ему пора: либо удавиться, либо демобилизоваться. Но демобилизация, неизбежная, как крах капитализма, не делала навстречу ни одного шага, и дни тянулись, как коридоры гауптвахты, выкрашенные шаровой краской, и капали, капали в побитое темечко.

Комендант давно был существом круглым, но все еще мечтал, и все его мечты, как мы уже говорили, с плачем цеплялись только за ослепительный подол Ее Величества Мадам Демобилизации.

Дверь — в нее, конечно же, постучали — открылась как раз в тот момент, когда все мечты коменданта все еще были на подоле, и комендант, очнувшись и оглянувшись на своего помощника, молодого лейтенанта, стоящего тут же, вздохнул и уставился навстречу знакомым неожиданностям.

— Прошу разрешения, — в двери возник заношенный старший лейтенант, который, потоптавшись, втащил за собой солдата, держа его за шиворот, — вот, товарищ майор, пьет! Каждый день пьет! И вообще, товарищ майор...

Голос старлея убаюкал бы коменданта до конца, продолжайся он не пять минут, а десять.

— Пьешь? А, воин-созидатель? — комендант, тоскливо скуксившись, уставился воину в лоб, туда, где, по его разумению, должны были быть явные признаки среднего образования.

«Скотинизм», — подумал комендант насчет того, что ему не давали демобилизацию, и со стоном взялся за обкусанную телефонную трубку: слуховые чашечки ее были так стертые, как будто комендант владел деревянными ушами.

— Москва? Министра обороны... да, подожду...

Помощник коменданта — свежий, хрустящий, только с дерева, лейтенант — со страхом удивился, так бывает с людьми, к которым на лавочку, после обеда, когда хочется рыгнуть и подумать о политике, на самый краешек подсаживается умалишенный.

— Министр обороны? Товарищ Маршал Советского Союза, докладывает майор Носотыкин... Да, товарищ Маршал, да! Как я уже и докладывал. Пьет!.. Да... Каждый день... Прошу разрешения.. Есть... Есть расстрелять... По месту жительства сообщим... Прошу разрешения приступить... Есть...

Комендант положил трубку.

— Помощник! Где у нас книга расстрелов?.. А-а, вот она... Так... фамилия, имя, отчество, год и место рождения... домашний адрес... национальность... партийность... Так, где у нас план расстрелов?

Комендант нашел какой-то план, потом полез в сейф, вытащил оттуда пистолет, передернул его и положил рядом.

Помощник, вылезая из орбит, затрясся своей нижней частью, а верхней — гипнозно уставился коменданту в затылок, в самый мозг, и по каплям наполнялся ужасом. Каждая новая капля обжигала.

— Так... планируемое мероприятие — расстрел... участники... так, место — плац, наглядное пособие — пистолет Макарова, шестнадцать патронов... руководитель — я... исполнитель... Помощник! Слышь, лейтенант, сегодня твоя очередь! Привыкай к нашим боевым будням! Расстреляешь этого, я уже договорился. Распишись вот здесь. Привести в исполнение. Когда шлепнешь его...

Комендант не договорил: оба тела дробно рухнули; впечатлительный лейтенант просто, а солдат — с запахом.

Комендант долго лил на них из графина с мухами.

Его уволили в запас через месяц. Комендант построил гауптвахту в последний раз и заявил ей, что, если б знать, что все так просто, он бы начал их стрелять еще лет десять назад. Пачками!

БОТИК ПЕТРА ПЕРВОГО

Закончился опрос жалоб и заявлений, но личный состав, разведенный по категориям, остался в строю.

— Приступить к опросу функциональных обязанностей, знаний статей устава, осмотру формы одежды! — прокаркал начальник штаба.

Огромный нос начальника штаба был главным виновником его клички, известной всем — от адмирала до рассыльного, — Долгоносик.

Шел инспекторский строевой смотр. К нему долго готовились и тренировались: десятки раз разводили экипажи подводных лодок под барабан и строили их по категориям: то есть — в одну шеренгу — командиры, в другую — замы со старпомами, потом — старшие офицеры, а затем уже — мелочь рассыпью.

В шеренге старших офицеров стоял огромный капитан второго ранга, командир БЧ-5, по кличке «Ботик Петра Первого», старый, как дерьмо мамонта — на флоте так долго не живут. Он весь растрескался, как такыр, от времени и невзгод. В строю он мирно дремал, нагретый с заливка мазками весеннего солнца; кожа на лице у него задубела, как на ногах у слона. Он видел все. Он не имел ни жалоб, ни заявлений и не помнил, с какого конца начинаются его функциональные обязанности.

Перед ним остановился проверяющий из Москвы, отглаженный и свежий капитан третьего ранга (два выходных в неделю), служащий центрального аппарата или, как их еще зовут на флоте, — «подшакальник».

«Служащий» сделал строевую стойку и...

— Товарищ капитан второго ранга, доложите мне... — проверяющий порылся в узелках своей памяти, нашел нужный и просветлел ответственностью, — ... текст присяги!

Произошел толчок, похожий на щелчок выключателя; веки у «Ботика» дрогнули, поползли в разные стороны, открылся один глаз, посмотрел на мир, за ним другой. Изображение проверяющего замутнело, качнулось и стало кристаллизоваться. И он его увидел и услышал. Внутри у «Ботика» что-то вспучилось, лопнуло, возмутилось. Он открыл рот и...

— Пошшел ты... — и в нескольких следующих буквах «Ботик» обозначил проверяющему направление движения. Ежесекундно на флоте несколько тысяч глоток обозначают это направление.

— Что?! — не понял проверяющий из Москвы (два выходных в неделю).

— Пошел ты... — специально для него повторил «Ботик Петра Первого» и закрыл глаза. На сегодня он решил их больше не открывать.

Младший проверяющий бросился на розыски старшего проверяющего из Москвы.

— А вот там... а вот он... — взбалмошно и жалобно доносилось где-то с краю.

— Кто?! — слышался старший проверяющий. — Где?!

И вот они стоят вдвоем у «Ботика Петра Первого».

Старшему проверяющему достаточно было только взглянуть, чтобы все понять; он умел ценить вечность. «Ботик» откупорил глаза — в них была пропасть серой влаги.

— Куда он тебя послал? — хрипло наклонился старший к младшему, не отрываясь от «Ботика».

Младший почтительно потянулся к уху начальства.

— Мда-а? — недоверчиво протянул старший и спокойно заметил: — Ну и иди, куда послали. Спрашиваешь всякую... — и тут старший проверяющий позволил себе выражение, несомненно относящееся к животному миру нашей родной планеты.

— Закончить опрос функциональных обязанностей! — протяжно прогундосил начальник штаба. — Приступить к строевым приемам на месте и в движении!

Михаил СМОЛЯНИЦКИЙ

О! ДЕТСТВО!

(Восклицательные фрагменты)

О, мое пионерское детство!

О вы, пионеры, первопроходцы, первооткрыватели, извездыватели неизведанного, чья нога впервые ступала туда, где доселе она не ступала, вы, герои Фенимора Купера и Генрика Сенкевича, вы, пытливые испытатели естества — знали бы вы, к чему приводят испытания! О вы, сугубо устремленные в будущее, которое не есть настоящее, а значит — поддельно, что вам известно о своем настоящем?

Что такое есть пионер? Еще два, много три поколения, и дети перестанут стыдливо смеяться, тыкая пальчиком в заглавие книжки упомянутого Фенимора, а красный шейный платок с торчащими острыми кончиками снова станет привычной деталью костюма героев из книжек подобного рода — и только. Сгладятся, заплывут зыбкой дымкой воспоминания о пионерских отрядах и пионерских линейках, о пионерских обязанностях и пионерских починах; выцветшими буквами на ветхих, истертых по сгибам и кружевных по краям бумажек станет гордый девиз, по-античному раздиаложенный: «Будь готов!» — «Всегда...» Не придется уж мамам отпаривать под влажную марлей острые стрелки на форменных брючках своих сыновей, вплетать дочерям в косы белые гофрированные банты, для чад обоего пола крахмалить снежные сорочки с золотистыми круглыми пуговицами и желто-красным шевроном — увы, не придется: уйдут парады, уйдет и парадная форма. Не станет морей из гвоздик и тюльпанов, из гладиолусов и транспарантов, из волноподобных шеренг (темный низ, белый верх); не станет шума, как будто морского, прорезаемого звуками горна и всплесками микрофона на шаткой трибуне; не станет мальчиков с изумляющей их самих заглотно-аршинной осанкой, не станет девочек, цветущих почище составляющих море растений, не будут уж взгляды осанистых пугливо и удивленно скользить по ножкам цветущих — поразительным ножкам, в кои веки возникшим из-под спуда серых и бурых колготок, затянутым в елочки или же сеточки белых гольф, и сверху воздушно прикрытым оборками юбочек, по смуглым ножкам, налитым весною и праздне-

ством... Не станет уж ножек таких. Пионерок не станет, ниже пионеров. Не станет нашего детства.

О, зыбь воспоминаний!

О, зыбь воспоминаний!

О, мутноватая, дрожащая пелена, из которой, словно бы из небытия, извлекаем мы иногда, нечаянно шевельнув чем-то мягким и косным у себя в голове, смутные отсветы где-то когда-то подсмотренных изображений! О, потайные шорохи, скрипы и вздохи, сопровождающие эти видения! О, детство, — ты ли случилось со мною или же это ветер, пролетая, стукнул играючи ставень о ставень окна на веранде?..

В то лето я был пионером и жил в пионерском лагере... Когда сотрется и даже изгладится память обо всем перечисленном выше и о многом другом — как убедить мне тебя, Мнемосина, пощадить хоть эту ничтожную толику?

Знаете ли вы, что есть лагерь? Нет, вы не знаете! Я расскажу. Лагерь, на первый случай, это сборы. Это брюки, шорты, носки, рубашки, футболки, носовые платки, кепки, свитера, ручки, тетрадки, конверты, сандалеты, кеды, трусы, полотенца, конфеты, печенье, стаканчик шоколадного сыру, зубная щетка, шампунь «Себорин», мыльница с мылом, нитки с иголкой и пять запасных пуговиц, пачка анальгина и пачка активированного угля — кажется, всё. Мы с мамой стоим среди этих вещей, раскиданных на полу, на столе и кровати, развешанных на спинках стульев. Шкаф зияет брешами в еще только что туго набитых полках; новенький, терпко пахнущий дерматином коричневый чемодан хищно растопырил свой глянцевиый зев. Мама лепит на испод крышки реестр моему добру, писанный синим фломастером — линии жирны и сочатся запахом одеколона. Вот как я помню их, сборы! И еще помню: в ночь перед отправлением не спалось мне. Чемодан, стоя подле растерзанного шкафа, самовольно поблескивал своими замочками и металлическими заклепками на углах. Я слез с кровати и, сторонясь чемодана, скользнул в коридор. Отлипая босые ступни от прохладного линолеума, зашуршал потом плетеной циновкой у входной двери и замер.

— Как ты мог! — говорила мама папе за матово-оранжевым витражом кухонной двери. — Господи, как ты мог!

О, волнения перед отъездом!

О, волнения перед отъездом!

О, сутолока и толчея вокруг пяти автобусов, замерших, словно покорные битюги, против сквера с фонтаном, брызжущим веером тонких ворсистых струй! О, гомонливые дети в упомянутых белых рубашечках, с алеющими на грудках, подобно шаловливым птичкам, галстуками! О, родители, озабоченные и утирающие испарину, вопреки прохладе утра!

Лагерь, следующим пунктом, это въезд в него. Позади, иссякая в размерах до точек, остаются тревожные улыбки родителей. Заслоненные же ими две фигуры, мужская и женская, обе в таких же галстуках, как у нас, увеличились, вобравшись в автобус, и сидят теперь впереди, на сиденье возле кабины водителя — это наши вожатые, они нам подмигивают и с кем-то из бойких уже перебрасываются шутейными репликами. Три часа с половиной автобус на каждом подъеме чихает и пылью и газами, три часа с половиной мы пялимся в сдобренный оконными пятнами ландшафт: сперва городской, затем — дачный, а после — пространственный: поля, леса и пригорки. Но вот мы свернули с дороги и затряслись по меже с окаменевшими по краям желобами от многих колес. Вот зелень захлестала по окнам автобуса. Вот вынырнула белая вывеска на двух зеленых подпорах: «Добро пожаловать!» и ниже «П/Л...», но уж въехали.

— Толстый, — сказал мне рыжий мальчик в полосатой рубашечке, из обрубленных рукавов которой торчали красные, рыжими волосками поросшие руки; мы спрыгнули вместе с подножки. — Слышь, толстый, а вожатый у нас ничего, да?

О, сумятица въезда!

О, сумятица въезда!

О, неразбериха устройства, упрочения на своем койко-месте и упорядочения предметов в пространстве половины положенной тумбочки! О, дипломатия первых знакомств!

Что есть все-таки собственно лагерь? Здесь возможны три точки зрения. Первая — птичья. С точки зрения птичьей лагерь есть лесистая лощина, продолговатая и по краям густо опушенная: слева — ельником, справа — лиственным лесом; на расчищенных местах наткано пять коробочек с гребенчатыми крышами, крашенными яркими красками; еще одна, подобная каменной кишке, с задним двором, сытно и тошно пахнущим отбросами; еще одна, похожая на гриб или цирк, что то же; и еще ряд помельче, многогранных, с кружевной отделкой — все напоминающие гриб-цирк; нежно зеленеет в

глубине лощины ровный травянистый лоскут с двумя квадратными скобками, выставленными на попа, по краям; всё.

Вторая точка зрения — прохожего. Прохожий, сколько ни движется, видит вокруг себя лес, а в лесу, по какую-нибудь из своих рук, видит забор, густо-зеленый. На определенном отрезке движения видит также вывеску «Добро пожаловать!» и пионера в парадном, вцепившегося руками в решетку ворот по ту сторону и мнущего лоб об эту решетку; называется — КПП; вот, что видит прохожий, если пионер в тот момент не отводит в сторону створку ворот, пропуская торпливо фырчущий «газик» — средство передвиженья начальника лагеря.

Третья точка зрения — внутренняя. Формируется на второй неделе пребывания внутри. Состоит в том, что если из родного корпуса пошел в столовую, то смотришь на белую пыль под ногами — и приходишь в столовую. Если на танцплощадку — то на танцплощадку. Если в беседку — то в любую из пяти. Если же на футбольное поле...

— В футбол-то умеешь играть? — спросил меня долговязый вихрастый парнище в рубахе навыпуск и вьетнамках с отрезанной перепонкой для пальцев, наш вожатый. — Будешь тренироваться, а? — спросил и потрепал по плечу. — Ну, чего дуешься?

— Умею, — сказал я. — Буду, — сказал я. — Не дуюсь, — сказал я.

О, тонкий яд честолюбия!

О, тонкий яд честолюбия!

О, подъемы с петухами, о, легкие пробежки по росистой траве! О, подтягивания на росистом же турнике под одобрительный гомон рассеявшихся на окрестных деревьях птиц!

Нет, не умел я играть в футбол. Но очень хотелось. А было одно препятствие.

Трудно в это поверить, глядя на меня теперь, но в ту пору я был толстым. В каждом пионерском отряде был толстый. Что и подметил рыжий. В каждом пионерском отряде есть и рыжий.

Рыжий этот не давал мне покоя. Когда приезжают в лагерь, то всех ведут взвешиваться. И нас повели. Медпункт был упрятан в ельник. В сырой пахучей чаще жили комары. Я убил штук восемь или девять, пока мы ожидали во дворе низкого, кирпичного, похожего на курятник, зданьица с белой крышей и наличниками на окошках, затянутых голубенькими шторками.

— Искусали толстого, — указал на меня рыжий окрестным пионеркам, раскачивая тощим задом низкий палисадник. — Гля, как искусали.

Я молча убивал.

— Сорок два, — и я сошел с весов.

— Ну, жир! — поразился рыжий. У него было, кажется, тридцать четыре.

Мы ходили на завтрак и вернулись в корпус. Прямо против входа в стену было вделано зеркало в человеческий рост. Я изучил в нем себя мельком. Я изучал в нем себя мельком и впредь. Попутно я изучал идущих следом. Особенно удобно было это делать после наших тренировок, когда мы, распаренные и голые по пояс, врывались в корпус, будя непричастных к футболу. Изучая, я приметил, что у рыжего и у других идет между сосков и ниже по животу как бы полоса — такая неглубокая и узкая, как девчоночья лента, ложбинка. У меня ложбинки не было. Я чертил ее пальцем, но она не появлялась.

Зато я умел подтягиваться. У рыжего получалось не в пример хуже. Наш капитан, любимец вожакого, ответственный за спортивную жизнедеятельность коллектива и силач знаменитый, подтянулся одиннадцать раз. Мальчик с грустными глазами в длиннейших ресницах высокой пушистости и с капризным грустным лицом, имевшим достопримечательностью фигурные губы, весьма влажные и красные, подтянулся десять раз. Я подтянулся восемь. А рыжий — шесть.

— Ну даешь, жир! — сказал он неприятельски.

Меня поименовали как третьего в отряде на утренней линейке. Флаг, правда, мне поднимать не пришлось. Но я и не глядел на длинные костлявые пальцы капитана, который, задрав белобрысую голову и щурясь от исчерканного елями солнца, под сбивчивую барабанную дробь дергал за тонкий витой металлический трос, толкая кверху пляшущий кусок красного сатина. Зато я глядел вправо по строю, краем правого глаза. Там стояла девочка, стриженная скобкой. Она, не соблюдая стойки «смирно», заправляла пепельные волосы за розовые ушки, светившиеся перламутром.

О, первые, робкие влюбленности!

О, первые, робкие, влюбленности! О, отсутствие эротизма, сообщающее этим попыткам к чувству характер созерцательный и эстетический! О, коллективность эстетического восприятия!

Что такое было в этой девочке, я объяснить не могу. Но есть такие девочки, в которых бывают влюблены все мальчики. И вот в эту девочку были влюблены все мальчики. И я был влюблен в эту девочку. У нас случались танцы, и мы, топотливо пляша на гулкой веранде танцплощадки, усеянной по ободу грибной своей шляпки желтыми и красными лампочками, будто листьями, и выделявая наиболее острые па, косили взглядом в сторону этой девочки. И как только скорый ритм обрывался, и слащавый голосок какой-нибудь Агнетты Фальтскуг уже запевал что-либо вроде «Thank you for the music» — то мы неприличным скопищем, грохоча по доскам и толкая пары старших пионеров (раздраженные) и вожатых (снисходительные), кидались прямо к ней, нашей пепельно-волосой красавице, и кто попрытче — тот успевал пригласить, скажем, одну из ее подруг, которых было или три или четыре, ни одной нельзя вспомнить. Густо пахло слью, глаза у нашей красавицы были очень синие — как неглубокая ясная ночь летом. Ну, красавица-то, конечно, могла достаться только тому, кто оказывался прямо рядом с ней, а это требовало многого, так как были приличия... То есть нельзя же все время пихаться. Ну и так далее. А ее подруг, еще раз говорю, я лично не помню. Серые какие-то мыши, и все. Впрочем, я и ее саму не помню. То есть, кроме шуток, не помню ее, кроме ушей. И волос.

Но и рыжий был влюблен в эту девочку. И однажды мы ходили в баню. Баней назывался душ. А потом я спускался по крыльцу нашего корпуса, и по белой, усыпанной белым песком дорожке из-за угла выворачивали красавица с подружками, и среди них крутился рыжий. Все щебетали и звенели, как птички, особенно заливался рыжий, но не как птичка, а как большой отвратительный птиц! Он заливался, и даже флегматичная наша красавица фыркала красивыми пухлыми губками.

— А у толстого, — поймал я обрывок, — вот такусенький... — рыжий свел указательный и средний, конопатые свои пальцы на расстояние меньшего ребра спичечного коробка.

Я гордо прошел было мимо, но допустил по пути ошибку: поднял с земли суховатую сохлую ветвь и закричал рыжему:

— А у тебя вот такущий!

— А я был в плавках! — провопил рыжий, когда я уже обогнул корпус.

О, дух молодого соперничества!

О, дух молодого соперничества! О, состязания, соревнования, спартакиады, олимпиады и первенства! О, азарт борьбы до победы — над противником, в первую голову, и (возможно) над чьим-нибудь сердцем вдобавок!

Как видно (несмотря на фрагментарность и даже отрывочность этих воспоминаний), жизнь в лагере имеет обыкновенье палаживаться. На лад шли и наши тренировочные занятия. А также тренировочные внутриколлективные матчи. Я в них показывал хорошие результаты, как то: к мячу приближался редко, так как не очень твердо знал, что с ним делать; если мяч все-таки летел в мою сторону, то я стремился его по возможности остановить и либо вступить с кем-нибудь в единоборство в надежде, что мяч у меня отберут превосходящими силами, а это даже почетно, либо отдать пас кому-нибудь, кто поближе, и пасы у меня получались очень мягкими — пожалуй, даже излишне; заручился симпатией капитана, лично общавшегося с тренером (сиречь, вожатым) на предмет состава команды — при помощи рассудительного умения рассуждать о тактических вопросах, а также рассказывать анекдоты. Так, мяч у нас был старый, кожа на нем побурела, скукожилась и окаменела от множества луж и дождей, в которых довелось ей побывать; при ударах мяч издавал волглый звук глиняного черепка.

— Вот дадут на официальные настоящий мяч! — говорил я. — А это ж разве мяч?

— Надо его попробовать в полузащите, — говорил про меня капитан вожатому. — Неплохо играет, — думал он, что я умею играть. — Надо в полузащиту.

Нет, не прельщает в таком возрасте несуетное изящество славы Бекенбауэра, нет, не прельщает. В защитники ставят тех, кто не очень умеет играть. На худой конец — совсем не умеет. Но откуда было знать капитану, что я не умею играть?

— Он у нас мастер паса, — рисовал меня капитан вожатому; дух Леонида Буряка носился где-то поблизости.

Но вот был назначен день матча. Накануне я получил письмо из дому. «Скоро у вас будет родительский день, — писала, между прочим, мама, — и я к тебе приеду, сынок». О папе в письме не упоминалось. Подписано оно было только мамой. Я спрятал письмо в тумбочку, придавил его там мыльницей и потянул было чистый конверт, но пошел тренироваться: звал капитан.

На следующий день, после завтрака, нам выдали настоящую форму: безразмерные густо-томатовые футболки с длинными рукавами, проймы которых сгодились бы на отдельный предмет туалета, шерстяные гетры того же ядовитого цвета

и белые сатиновые трусы. От бутсов мы отказались — они были уродливые, с пощербленными шипами, и очень большие; носы их, твердые, как кремь, черные, мутные, были угрожающе загнуты вверх. Соперники нашего четвертого отряда, отряд второй, старший, вышли, напротив, частично в бутсах. Майки и гетры на них были нежно-салатовые.

Мне досталась футболка с номером «7» как центральному полузащитнику. Я стоял посреди поля, за спинами капитана и смуглого мальчика, героически небрежно пинавших мяч в центральном круге, и комкал на предплечьях неопрятно и толсто засученные рукава. Подтягивал ежесекундно сползавшие гетры. Тут игра началась. На меня летел мяч.

— Бей, толстый, бей! — орал рыжий; он был левый полузащитник.

Я занес правую ногу. Мяч проскакал мимо. Я обернулся, увидел белую цифру «9» на салатовом фоне. Цифра плясала перед белой линией, при помощи мела выпачканной в траве. Двое наших защитников с растерянными лицами, растопыривая руки, ловили цифру.

— Догони! Борись!

Голос тренера закон есть! Я побежал. Цифра прынула вправо. Я набежал на нее, но мяча не было. «Гол!» — это мягко сказано: трибуны были полны пионеров, а они обычно визжат. Мяч лениво и вертикально подпрыгивал в наших воротах перед сеткой. Вратарь сутуло сидел на земном горбыле, обозначавшем линию ворот.

— Чего ты не бил, ты! — меня толкнуло в спину.

— Сам ты! — я толкнул рыжего в грудь.

Костлявый кулак больно ткнулся в мое плечо; я ухватил этот кулак и затряс. Вожатый набежал откуда-то сбоку.

— Э, куда!.. Шас тому и другому! А ты встань в защиту и стой. Чилиец, в полузащиту!

Так окончилась моя карьера хавбека. Юркий квадратный Чилиец, прозванный так за показательные мучения, которым он подвергался со стороны вожатого, стрельнул в меня рысьими глазками и занял мое место. На меня опять летел мяч. За ним, петляя и вихляясь, несло крупное салатовое пятно. Я упал.

О, горечь поражений!

О, горечь поражений! О, черные дни, когда все валится из рук, а ноги сами несут навстречу бедствиям! О, робкие попытки слепой и немилосердной Фортуны ткнуть в какую-нибудь светлую сторону бытия!

Учитывая онтологическую антиномичность человеческого существования, вряд ли выглядит странным тот факт, что именно ввечеру дня моего футбольного позора мне в первый (и в последний) раз удалось пригласить на танец нашу красавицу.

Вечер был тяжкий и душный, лампочки светили густо и тускло, как керосиновые фонари; мигали. Из еловых чащоб тянуло сыростью и комарами. Заиграло «Thank you for the music». Я машинально обернулся и, еще не осознав плотности своего счастья, уже держал его в руках. От пепельных волос горьковато пахло смолистыми шишками. Комар уверенно жалил меня под лопатку, но я, вытянув руки и едва прикасаясь к талии, гибкой и теплой, как кошка или кошма, уж не знаю, жмурил глаза, комкая движущиеся по кругу окрестности в радужные пятна. Я что-то бормотал, и в ответ мне совершенно хрустально звенело, что трудно было связать с шевелением мягкого рупора губок. Потом я посмотрел вниз, на ее переступавшие ножки в белых сандалиях и таких же носочках с тремя голубыми полосочками у резинки, и в самый момент смотрения — о, ужас! — мой грубодельный коричневый сандалет самостийно ступил на один из носочков и оставил на нем коричневый смазанный след. Доски площадки заколебались у меня под ногами; в глазах потемнело. В небе треснуло, будто какой-то шалун надул целлофановый пакет и стукнул его о кулак, полыхнула над лесом багровая вспышка. Красавица снисходительно улыбнулась мне; глаза ее по-кошачьи сверкнули и электрически заискрились. Над лесом заухало; площадка заволновалась. Через минуту первые капли упали в ошетилившуюся пыль. Начался дождь.

— Чтоб я больше тебя рядом с ней не видел, — подавил в меня кулаком смуглый мальчик с ресницами; красивые губы его стали мстительны. — Понял ты, толстый?

— Посмотрим еще, — сказал я, косясь в сторону; спины капитана, Чилийца и прочих, не говоря уж о рыжем, выражали неодобрительное равнодушие к моей судьбе.

О, дожди в сезон отдыха!

О, дожди в сезон отдыха! О, уныние отсыревших дощатых стен, о, неопрятность потеков на окнах! О, плесневый запах, неистребимо селящийся в каждом углу, в каждой щели, в каждой складке одежды! О, таинства невольного затворничества!

Дождь, начавшись вечером, шел всю ночь; утром с земли подымался дымчатый пар и повисал на перилах нашей веранды, на гребне нашей крыши. Мы вырядились в куртки и сапоги; ежась, прошлепали по лужам в столовую. После завтрака дождь пошел снова — сначала слегка, а потом сплошным ливнем, поминутно взрываясь грозой. В корпусе затворили все ставни и зажгли освещение. Обстановка стала мерцательной; мы принялись играть. Ах, эти игры — бес-связные и произвольные обрывки старинных гаданий и заговоров, ведьмачества и волшебства, всякой темной и потайной жизни человеечь-звериной души. Ах, в частности, эта любовь к покойникам! Вот игра в мумию. Завязывают кому-нибудь глаза и вводят в затемненную, зашторенную, елико возможно, палату. Ведут. По препятствиям, по каким-то подстроеным при помощи кроватей, табуреток и тумбочек закоулкам, лабиринтам и мосткам. Подводят. Велят ощупать. Слепленный щупает и убеждается, что под рукой у него — цельный матерчатый кокон в человеческий рост. Тут его царапают по руке гребешком. «Это зубы мумии!» — восклицают десять гробовых голосов. Слепленный вздрагивает, но тут его руку хватают и пальцами тыкают во что-то вязкое, именно — в бумажку, на которую выдавлено зубной пасты. «Это глаза мумии!» — гудят голоса. «А теперь, — продолжают они, — пожми ей руку». Ну, рукой бывает, положим, швабра. Слепленный трясется и ежится, тянется, опасно хихикая, к повязке. «А теперь... посмотри на нее!» — завывают все и начинают дико визжать; кто-то срывает повязку, и полуослепленным глазам в сумерках, в тусклом дрожанье свечи, предстает длинная белая фигура, укутанная в простыню, словно в саван. Ужас!

— Слышь, толстый, — шепнул мне рыжий, когда хохот громыхал по палате, как сорвавшийся с дуги колоколец, — пошли, слышь, толстый, туда... на веранду.

О, потайная романтика тьмы!

О, потайная романтика тьмы! О, подспудное стремление к сладко-запретному, щекочуще-дразнящему! О, болезненный интерес к испытанию пределов!

— Мне надо письмо писать! — сказал я было рыжему.

— Ты чего, толстый, боишься, что ль?

Мы прошли по коридору в конец корпуса. Веранда, опоясывавшая корпус крытой галереей, по краям оканчивалась двумя рекреациями. Окна были заперты недавно, однако

воздух уже был затхлым, каковым он всегда бывает в тесных дачных помещениях для садового инвентаря, не имеющих свежего воздуха целую зиму. В углу стоял ящик с песком и висел приоткрытый пожарный щит; внутри его были укреплены багор, лом, воронковидное ведро и топор — все крашеное в алый цвет; место для лопаты пустовало — она была прислонена к ящику вместе с парой грабель с обкусанными и погнутыми зубьями. Правее ящика, в углу, происходила какая-то возня; человек восемь ребят стояли или сидели на корточках либо на старых поломанных деревянных ящиках, расставленных по стенам; один, впуская нас на условный стук рыжего, приложил к губам палец. Дождь мутными потоками размазывал по стеклам очертания деревьев.

— Чегой-то они? — спросил я у рыжего шепотом.

— Усыпают, слышь, — прошептал и тот.

Я пригляделся. В углу, прислонясь спиной к стене, с закрытыми глазами стоял тщедушный Чилиец. Мощный капитан, нависая над ним, обеими руками опирался ему в середину груди и вдавливал Чилийца в стену. Лицо Чилийца было бледно и напряжено. Он не дышал. Багровый румянец медленно покидал нижнюю часть его лица.

— Давай! — взвизгивал кто-то восторженным шепотом. — Жми!

Огромные перпендикулярные капитановы уши запунцовели. Прямоугольная спина напряглась. Затем он откинулся, тяжело дыша. Чилиец стоял, грязно-серый, как стена, к которой он был прислонен. Потом воздух шумно оставил его легкие, он широко распахнул рысьи глаза и помотал головой.

— Ну, мужики... — начал он.

— Чего, слышь, чего?

— Да чего — ничего: не видите, что ль, — он притворялся!

— Не притворялся я!

— Притворялся, не ври!

— Не, я правда уснул! Прямо как это... зашумело чего-то...

Все слушали со вниманием, но не очень доверчиво. Чилиец махал руками, брызгал слюною. Смуглый мальчик подошел к нему, хлопнул по плечу.

— Ладно, Чилиец, — и отошел; Чилиец поник лохматой головой.

— Толстый, хочешь попробовать? — обратился ко мне капитан; а когда я рассуждал о тактике «тотального футбола», он не звал меня «толстый»; да, жизнь...

— А?..

— Да он ссыт, — высунулся рыжий

Я пошел и встал к стене.

— Лишний воздух из тебя выйдет, жир, — подхихикнул рыжий.

— Молчи, рыжий, — строго сказал капитан. — Ты, толстый, вот что: ты набери воздуха, удержи дыхание и не дыши, изо всех сил не дыши, сколько сможешь. Я тебе буду давить вот сюда, — он ткнул мне под ложечку твердым спрямленным пальцем, — и ты уснешь. Согласен?

— Согласен, — отвечал я, раздувая грудную клетку.

Я ее раздул вовсе. Она раздулась. И стала большой. В ней застоялся воздух. Капитан уперся ладонь о ладонь мне в грудь; подавил. Я закрыл глаза. Я ждал, что воздух вырвется сейчас тугою струей из носа моего и изо рта. Но он не вырвался.

О, ложное дуновение смерти!

О, ложное дуновение смерти! О, вид последних глубин! О, колеблющаяся завеса над единственной тайной на свете!

Стало темно, и в ушах у меня засвистело. Расходясь, разгоняясь, пронзительнее. Как бы на санках лежал я спиной, как бы участвовал я в каком-то безумном бобслее; свистело, несло. Неслась темнота, пестрящая и рябящая точками, чёртками, полосами. Направленный невыносимый луч бил откуда-то сверху и сбоку, косо вонзаясь в застывшие льды, по которым, среди поседлых отражистых глыб и торосов, скользили мои утлые санки. Скользили они у самого края луча, не задевая его; миг — и они нырнули в полосу света. Свет увеличился, разбух в огненный шар, лопнул, и из него потекли сероватые сумерки, затхло пахнущие. Что-то ударило меня по затылку. Несколько мальчиков, лиц которых не мог я припомнить, хотя и догадывался, что где-то их видел, колеблющимся полукругом плавали где-то повыше уровня моих глаз, в сером мареве.

— Ты чего... не убился?

— Поднимай, чего стоишь?

— Ребята, он... похудел будто! Гляньте, а?

Я стоял, неловко опираясь на плечи Чилийца (очень низкое) и капитана (ужасно высокое). Остальные лица плыли, качаясь и переливаясь; лицо рыжего было сплошной разварной массой.

— Воздух... хе... из него лишний вышел. Вот и похудел.

— Молчи, рыжий, — строже прежнего сказал капитан.

— Мне письмо надо писать, — сказал я и, пошатываясь, побрел к выходу.

В палате я вынул мамино письмо, чистый конверт, тетрадь и ручку. Перечитал письмо, поглядывая на дождь, и положил голову на подушку. Сзади ко мне прикоснулись.

— Слышь, — сказал рыжий, не называя меня толстым, — слышь, ты не злишь на меня, ладно? Ты когда падал... так медленно... Все, как чурки, глядят... И ты упал, и глаза стал открывать, и захныкал так... как грудной; а я испугался, вот. А про воздух я пошутил. А ты чего, расстроился?

— Нет, — сказал я, поднимая голову. — Я письмо домой пишу. У меня мама с папой все время ссорятся.

— А, — сказал рыжий. — А у меня папка бросил мамку. Посадил ей фингал и ушел к своей крале.

— А к тебе приедут на родительский день? — спросил я.

— Не знаю. А к тебе?

— А ко мне приедут, — сказал я: был убежден.

О, радостный трепет свидания с близкими!

О, радостный трепет свидания с близкими! О, пересохший в ожидании рот, о, бесцельные слоняния по шуршащим дорожкам, о, взгляды на ненавистно нерасторопное солнце!

Родительский день случился за десять дней до конца лагерной смены. Мама приехала одна. Она привезла с собой пельмени в термосе. Мы пошли в лес и наискось, через нежный осинник, вышли к оврагу, на дне которого бурчал мутноватый ручей. В ручье я пополоскал пятки, побрызгал на себя водой и стал есть пельмени. Мама в светло-голубых линялых джинсах, цветастой косынке и громадных темных очках, сидя на трухлявом обломке дерева, глядела, как я ем.

— Знаешь, сынок... — сказала она и замялась.

— Что? — спросил я, заглядывая в термос.

— Что ты скажешь, если мы... если папа уедет от нас? Я ничего не сказал.

О, первые раны от столкновения с миром!

О, первые раны от столкновения с миром! О, зубовой скрежет непоправимых обид! О, короста взросления!

Когда мама уехала, я успел до конца смены подраться с красивым мальчиком — правда, не очень. Из-за девочки,

разумеется. Он подошел ко мне во время тихого часа, когда я в трусах и майке сидел на кровати, задумчиво поглаживая книгу рассказов Эдгара По в светло-сером переплете. Он, мальчик, подошел ко мне и хлобыстнул меня неожиданно, справа и слева, и засим гордо удалился к своей койке.

— Еще раз увижу... — бросил он через плечо.

Я очнулся от задумчивости и пошел за ним.

— Я тут задолжал... — пробормотал я и вяло хлобыстнул его по смуглой щеке. Пушистые ресницы изумленно взметнулись вверх. Мы, сцепившись, бухнулись на пол. Вожатый, вовремя войдя, проследовал к месту происшествия, поднял нас на две вытянутые руки и вынес таким образом на свежий воздух.

— Отдохните здесь, — бросил он нам и ушел в корпус. Не прошло и пяти минут, как оттуда появилось шесть девочек во главе с красавицей. Мы зарделись. Девочки аккуратным гуськом прошествовали в направлении туалета. Мимо нашего корпуса шли трое старших из первого отряда, Один из них — мы это знали точно — ходил ночью к нашей вожатой на футбольное поле.

— Стоите? — крикнули нам старшеотрядники.

— Стоим, а чего ж, — небрежно отвечали мы, причем мой подельник ловко сплюнул, а я долго примеривался, тоже сплюнул, но неудачно: слюна повисла на губе, а из носу потекло. К счастью, старшие товарищи уже миновали нас, а сосед не глядел в мою сторону. Я вытер лицо изнанкою майки; девочки показались из туалета.

— Ты чего-то совсем похудел, — сказала красавица мне, проходя.

Сказала! Красавица! Мне!

— От любви-с! — гаркнул я и надул грудную клетку; фигурные губы на смуглом лице ущемленно поджались.

Еще через четверть часа вожатый прекратил наше стояние у позорного столба; я лег в постель и стал читать рассказ Эдгара По «Погребенные заживо». «Медленно, черепаший шагом растекался в моей душе тусклый, серый рассвет, — читал я про страшный приступ каталепсии. — Смутное беспокойство. Безучастность к глухой боли. Равнодушные... безнадежность... упадок сил...» — и так далее, вплоть до смертного ужаса и попытки мыслить; есть от чего похудеть и втиснуться в пространство в восемнадцать дюймов!

— Тридцать шесть, — сказали мне, и я, сходя с весов, с гордостью смотрел на рыжего. У него тоже было 36. Он поправился.

Входя в корпус за чемоданом (у КПП уже ждал автобус), я распахнул рубашку и провел пальцем от груди к животу. Отнял палец. У меня была полоса. Я взял чемодан и вышел; у чемодана немного облупился низ, а все остальное слегка запыхлело из-за лежания под кроватью.

О, тихая грусть расставаний!

О, тихая грусть расставаний! О, сосущая тоска по однажды посещенным местам! О, до боли ясные их очертания, напоенные звуками, запахами, прикосновениями до того отчетливыми, что кажется, будто стоит напрячься, тряхнуть головой, развести руками — и прошлое оживет во всей своей счастливой телесности! Но — чу! — некая пелена уже наползает слящимся комом на еще, мнилось, осязаемые картины, застилает их зыбью воспоминаний, которая — о!

О! О!.. О!

Мы восклицаем, когда нечего сказать. Нечего сказать бывает или потому, что сказать нечего было изначально, или потому, что все уже сказано — нами (а мы и не заметили) или за нас (а мы и заметили, да поздно) — это не важно. Еще бывает так потому, что сказать ничего невозможно. Именно — когда высказывание касается прошлого, отгороженного от нас прочной стеною воспоминаний, имеющей опасную иллюзию прозрачности, — то есть практически всегда, ибо всякое высказывание так или иначе касается прошлого. Прошлое само по себе есть только высказывание, а высказывание — воспоминание: нельзя говорить о том, чего не было. При желании можно бы разделить всю нашу, так сказать, жизнь на сторону активную, то есть действия, совершаемые в настоящем, и артикулярную, то есть высказывания, касающиеся прошлого. Неясно, правда, куда в таком случае девается будущее; вероятно, что его вообще нет (не будет?), поэтому лучше о нем умолчим. Хотя, с другой стороны, определение напрашивается само собой: будущее — это настоящее, которое станет прошлым. Ну и наоборот: прошлое — это настоящее, которое было будущим. Ну и... Впрочем, мы запутались. Во всяком случае, возвращаясь к основной нашей теме, можно высказаться в том смысле, что будущее наступает у нас на глазах со страшной силой, а то, что мы высказались об этом, делает его заведомо прошлым, известным только в высказываниях, да и то сомнительной достоверности. Например: что сказать о пионерах тем, кто не знает, что это такое, иначе, как из высказываний? Лучше ничего. Все будет спорно, зыбко.

Как трудно говорить! Чего уж там — пионеры: это предмет непростой, явление целое. А вы возьмите чего попроще, поединичней — и будет наглядно. Вот, скажем, моя мама до сих пор утверждает, что я похудел из-за того, что они с папой в то лето развелись. Но я-то ведь в точности знаю (и это вопреки общей отрывочности пионерских воспоминаний), что причина иная: из меня просто выпустили лишний воздух...

О, мое пионерское детство!

ЗАПАХ ГНИЛИ

Служба у нас была секретная. Она была секретная и есть секретная. Она была и есть такая секретная, что я даже лучше не скажу, какая. Ведь это секрет — как же я скажу? Вот если я проживу еще лет пятьдесят (за такой срок решительно все может рассекретиться, кроме разве, документов загса) — тогда да, тогда настанут иные времена, и с воспоминаниями об этой самой службе я стану выступать в наиболее толстых и солидных журналах. И стану жутко популярным автором — уж будьте благонадежны, стану; как не стать, когда все, все поголовно, положительно все начнут интересоваться тогда секретами полувековой давности. Журналы с моими мемуарами будут просто рвать друг у друга из рук. С утра в районных библиотеках начнут выстраиваться очереди по записи с ночи, и запись будет вестись чернильным карандашом на ладонях. Все только об этом и будут говорить — то есть вся публика, я хочу сказать. Вот увидите, если удастся. Может статься, впрочем, что я все-таки не доживу до праздника на собственной улице, и мемуары появятся в печати посмертно. Ну что ж, ну что ж — gloria mundi, как правило, transit. А вот gloria mortis — навряд ли. И будет так: редакторы самых авторитетных изданий перестреляют друг друга в пыльных полутемных коридорах, и победитель, с окровавленным лицом и дымящейся дырой на пиджаке, зажмет в оскаленных челюстях невеликую папку и, продолжая бешено палить, понесется хромящим галопом в свой предусмотрительно бронированный кабинет с охранниками в пятнистой форме на входе, рухнет в просторное кресло, и, комкая во рту папиросу, трясущимися руками наберет телефонный номер моей вдовы: «Виктория! Виктория! Зело крепок был сей орех, но, слава Богу, счастливо разгрызен!» Ну и так далее. И вот, на первых же страницах — оно. Со вступительным словом самого

матерого академика, почетного члена всех академий мира и телевизионного нравственного проповедника. И со вторым вступительным словом — моей вдовы. Нежный, но стоический тон. Ничего лишнего. Никаких сантиментов. Да, было нелегко. Было всякое. Было непонимание. Что ж — обычный крест, обычный крест. В таком духе. Я надеюсь, у меня будет способная вдова. Вот, кстати, надо озаботиться этим вопросом, поискать подходящую кандидатуру.

Ну что вы, ну что вы, не стоит. Право слово, не стоит — я только скромный летописец, точней — фактописец. Анналист, хронист, повествователь временных лет. Я только сносно настроенный фильмоскоп для показа застывших картинок на глянцевитой пленке. Смотрите картинки, прошу вас, смотрите. Вот вы, подвиньтесь, если вас не слишком затруднит, чуть-чуть вправо: за вами дама, ей не видно. Доброго здоровья. Ну что ж вы так опаздываете, любезный? Нет, без вас не начинаем, пожалуйста, присаживайтесь. Что, неужели все в сборе? А может еще кто-нибудь? Нет? Тогда начинаем. Только чур, как договорились — ни слова о секретах. На кой черт вам сдались эти секреты, в конце концов? Подумаешь — секреты! Они секреты только пока секретны. Они дороги нам своей секретностью, понятно вам? Мы, может быть, этой секретностью единственно только и живем, ясно? Мы существуем ею. А вы загребушими руками! Когда не время — *не время*, понимаете? Не трогайте наших секретов. Ну, пожалуйста. Смотрите лучше картинки — они ДСП, но вам можно. Можно, раз я говорю. Не бойтесь. Не уходите. Смотрите.

Вот, видите — солдатский строй, и все поют. Это совсем несекретная картинка. Это по дороге от казармы к столовой. На заднем плане — мусоросборник: ржавый кузов, косо упроченный на деревянной вышке. Справа — кусок плаца, окаймленный иссохшим арыком, слева — бассейн, туда как раз пускают воду, и солдат сидит, сняв сапоги и ремень, подле надутого брезентового шланга, из которого хлещет мощная искристая струя. Видите? Это, во-первых, лето, а, во-вторых, самое начало, когда я и сам ни аза не понимал во всякой секретности. Тьфу, опять секретность. К черту секретность! Ни слова больше про секретность.

Так вот, поясню картинку. Вы слушайте, слушайте. А то зачем пришли? Я не держу никого. Вот, видите, лето, юг (здесь не очень видно, что юг, но это юг) — если бы сдвинуть объектив немного влево, то ухватились бы горы и стадо овец, и пастух в лиловой рубашке, и азербайджанская деревня — названия не скажу, так как это секрет (ох, пропади

пропадом эти секреты!). Дальше: солдатский строй. Это — мы, учебный взвод. Форма еще новая и потому цвет ее неприличен; это потом она повытрется от стирок чуть не добела, станет ослепительной, как раскаленный пустынный песок. Сапоги еще не разношены, голенища ни у кого не в складку, торчат, как каменные, пышут свежим жирным гуталином, которым истекла на жаре огромная жестяная банка. Строевой шаг дружен и старателен. Одна рука — назад до отказа, другая — перед грудью на уровне третьей пуговицы, нога поднимается по обрезу сапога товарища. Рты отверзты. Глаза местами выпучены. Панамы сплошь и рядом покоятся на ушах. Бляхи ремней сияют нестерпимо. А вот там — видите, во-он там, вторая колонна справа, и... раз, два, три... шестой спереди — видите? Это я. Не узнать? Неудивительно. Я и сам не узнаю. Тем более, что видно только край лба, обрывок рта и один глаз. Просто я запомнил, что это я. И вы запомните.

Мы тут еще не вполне солдаты, хотя мы уже, так сказать, эмбрионы солдат. Во-первых, мы уже научились «отбиваться» — то есть расшвыривать свое обмундирование в течение двадцати восьми секунд и прыгать в койки, преодолевая воздух за оставшиеся секунды. Во-вторых, нас обмерили и взвесили. В-третьих, с нами побеседовали и сказали, чтоб мы забыли, как дурной сон, все, чем мы были допрежь, так как здесь вам не тут. В-четвертых, у нас уже были строевые занятия, что особенно видно. В-пятых, мы выучили песню. И вообще: всего не перечислишь. Столько событий, столько событий! — нигде и никогда такого количества событий в столь сжатые сроки нам испытать, надо надеяться, больше не доведется.

Вот — я отвлекусь на минутку — почему-то я вспомнил дурацкий такой случай, прямо курам на смех, но я расскажу. Вы не против? Это все насчет марша с песней в столовую — здесь, на картинке, просто это все не уместилось. Идем мы как-то раз, тоже еще в самом начале, и запевала заводит «Дан приказ ему на запад». Голос у этого парня был такой высокий-высокий, как у влюбленного кота, и он не пел, а скорее кричал на немыслимо высоких нотах, припадая с усилием на гласные. Вот он заголосил, мы согласно шваркаем ему в такт подошвами, и белая пыль вьется вокруг нас медленными клубами, застаивается в тяжелом воздухе.

— И родная отвечала, — орет запевала (мордастый такой был, родом откуда-то с Севера, щеки вислые, красные) — ...отвечала: я желаю всей душой — если смерти, то мгновенной, если раны — небольшо-ой!

— Если смерти! — взрываем мы рефрен, а тут из-за поворота, от КПП, появляется грузовик, КраЗ, кажется, и пылит нам навстречу. Две пыльные тучи сливаются, КраЗ в каких-нибудь двадцати метрах, и видны безумные глаза водилы, который тоже зачем-то разевает рот. Подпеваает, что ли?

— Принять влево! — вопит наш сержант с ударением на «и», и мы неловкой кучей сбиваемся на обочине, а грузовик, лязгая, как танк, пронесется мимо и обдает нас сизыми газами и кислым запахом бензина. Все. К чему это я? Не знаю. Говорю ж, просто вспомнил.

Ладно, вы смотрите картинки. Их не так много, ей-богу. Между ними — целые провалы, ущелья и пропасти. Вы смотрите — я ж вас не заставляю выслушивать, как мнется под подошвами бетон на плацу в полдень или как приятно надеть себе на голову панаму, полную воды. И еще много чего. Мы сразу к осени перейдем, там попрохладнее. Осенью мы, т. е. учебный взвод, из курсантов превратились в рядовых, так как обучение наше экстренно закончилось в связи с тяжким некомплектом в части, и нас распустили по ротам. Тут у каждого из нас начинается линия личной судьбы и, я бы даже сказал, карьеры. Это неправда, что в армии нет личной судьбы и карьеры. В армии есть все, что есть в обычной жизни, только это *в армии*. Понятно? Нет?

Ну вот пример, чтоб было понятнее. У меня в учебке был приятель, мы рядом спали и по ночам порой грызли печенье, которое иногда покупали днем, если удавалось прошмыгнуть в магазин. А прошмыгнуть удавалось нечасто, потому что жизненный график очень плотный — раз, и вообще в магазин неизвестно, можно ли ходить, и если можно, то когда — два. Последнего и командир части не знал, я ручаюсь. Здесь как: ведь вот солдатам надо ходить в магазин, да? Ну, сигареты, там, мыло какое-нибудь, расческа, щетка зубная, лезвия — мало ли что; надо; с этим все согласны; но никто не может точно выяснить, когда это разрешено. Отсюда мораль: лучше не спрашивать ничего — все равно запретят, ибо от этого голова не болит, а нужно на свой страх и риск идти самому, окольными путями, воровато постреливая глазами и подгадывая время и пространство, чтобы выпасть в обеих этих формах существования материи из поля зрения начальства. Дематериализоваться, если хотите.

Но я уклонился от примера. Душа в душу мы жили с приятелем, и в роту вместе перешли, и спать на соседних верхних койках уместились, а через какую-нибудь неделю выяснилось, что у приятеля моего — *enuresis nocturna*, т. е.

ночное недержание мочи (латинское название я специально посмотрел в справочнике для фельдшеров). Приятель описался под самое утро, когда окна казармы, нетопленной по причине не пришедшего еще для топки времени, запотели, как бутылка водки в морозильной камере, а всякий солдат устраивался на манер кулька — завертывался в одеяло с головой и пятками, боками подгробал, подтыкал его вкруговую и там, внутри, грелся дыханием. Приятель обильно и шумно описался на лежавшего внизу старшего товарища, а тот как раз во сне высунул из-под одеяла голову — подышать, вероятно. И вот на него потекло. И он проснулся. И я проснулся, от холода — у меня нога свесилась и замерзла. И я услышал журчание и поглядел сначала в сторону своего приятеля, который лежал темным бугром, а потом осторожно взглянул вниз и увидел, что там завозилось. Старший товарищ, еще не совсем очнувшись, выпростал руки и поелозил ими по лицу, потом звучно вдохнул воздух и взвился с койки, крича, как раненая сова. Резкий гнилостный запах вонзился мне в ноздри, как репейник. Я юркнул внутрь своего кулька и наблюдал в щелку, как мой приятель был схвачен за пятку, сдернут с постели (голова его при этом стукнулась о тумбочку, затем о край нижней койки и, наконец, об пол), и затем внизу стало слышаться густое сопение, рыдающий мат старшего товарища, сочные шлепки, глухие тычки и протяжные оправдания вперемежку с прерывистым ёканьем. Я вжался в подушку, зажмурился и почему-то сразу заснул. Наутро приятеля моего отправили в санчасть со следами легких телесных повреждений. Там он провалялся с неделю, причем я пару раз сумел дематериализоваться и занести ему кое-что погрызть (магазин был как раз против санчасти). На товарище была больничная пижама удручающе-синего цвета, сам он был небрит, очки были пыльные, глаза за ними опухли, а щеки, наоборот, ввалились, разбитая губа выглядела асимметрично, и подбородок мелко дрожал, пока его владелец пихал в рот крупные крошки печенья. Крошки валились назад, он направлял их на место грязными пальцами с изгрызенными ногтями. Потом его увезли в госпиталь, в большой город, и я его больше не видел, хотя, когда его комиссовали, он приезжал в часть за вещами и документами. Но я в это время был на смене, а что такое *смена*, я расскажу вам чуть позже, а пока я хочу спросить, поняли ли вы, что такое личная судьба? Ну вот и чудно.

Так не повезло — или, напротив, дико, безумно повезло — моему приятелю, а мне вроде как повезло, и я стал делать карьеру. Вот я вам покажу еще картинку. Стоп, это

не та. А, впрочем, эта тоже интересная, хотя и не относится к делу. Вот, глядите: мы в кузове грузовика, улыбаемся, обнимаем друг друга за плечи и приветственно машем в объектив панамы. День ранне-осенний, теплый, на небе имеются мелкие неважные барашки, а в целом оно чистое и ситцевосинее. Это мы выезжаем на сельхозработы. Наш командир был малый не промах, даром, что полковник, а так, в свете укрепления межнациональных связей, с местным населением общался накоротке и хорошим людям в рабочей силе не отказывал, благо она тут вот, под руками, и бесплатная. Вот мы и ездили. В тот раз поехали убирать лук. Едем. Машина бежит споро, звонко стучит своим металлическим телом, резво скачет на ухабах. Мы сидим по откидным лавкам у бортов, и еще стайка — на двух запасных крышках, нас на ухабах непредсказуемо кидает и стучает о борта, а нам нипочем: воздушные встречные струи равномерно колотят в наши замшелые от долгого сидения за оградой головы, и головам это лишь в радость. Дорога петляет сперва среди низких домишек, утопших в зелени с огненными пятнами зрелой хурмы, бежит мимо на отшибе стоящих чайной и магазина — из дверей веет прохладной пустотой — и начинает карабкаться несколько в гору; машина урчит и пылит. Кругом простирается зеленая равнина, на одном конце она слегка кучерявится лесом, а на другом ее начинает пучить, прут из гладкого тела пологие скаты, громоздятся друг дружке на спину и, наконец, теряясь в матовой, словно бы марлевой, дымке, размывают свои плавные линии на плоских, голубо-розовых холстинах. Редко когда отдернет невидной рукой завесу, и станут явны песчаного цвета шербатые горы с ворсистыми думками леса; или же мелькнет потайное ущелье, которое обнимают корявыми пальцами каменные скалы. Пейзаж, одним словом. Разнообразится, также, братскими нам зелеными воротами с красной звездой. Вот как проехали эти ворота и попрыгали дальше, вдоль похожей на стену с бойницами отвесной скалы, так дорога стала еще круче, и наша машина завyla, зафыркала, снова завyla, мелькнул справа свисший над самой дорогой громадный, ветрами отъятый от прочего тела скалы каменный палец, машина вдруг завизжала, забуксовала на месте (дорога неожиданно закончилась — видно, Земля в этом месте как раз закруглялась) — потом рванулась вперед, и здесь мы почувствовали, что летим. Летим! Летим, чтоб мне треснуть! У парня, который сидел против меня, голова вдруг мотнулась назад, и с нее мигом слизало панаму — а ведь ремешок был под подбородком. Я лопатками крепко ударился в борт,

затем меня скинуло с лавки на дно, я поднял голову и успел разглядеть большой ноздреватый камень, медленно падавший вслед за нами по крутому спуску с метровым обрывом вниз. В уши с запозданием ударил общий матерный рык, грузовик трянуло-качнуло, отчего все мы попадали кучей к одному из бортов, и тут же машина, дернувшись, встала.

Вот приключенье-то! Из кузова прыгнул старлей, мы поднялись, ощупались, потеряли отбитые места. Потерявший панаму полез через борт искать ее, остальные — за ним, затоптались на дороге, снова щупали себя и друг друга. Запорхали, вырываясь из слипшихся гортаней, точные словечки, и загромыхал, наконец, общий лающий хохот.

— Никак пронесло!

От такого катаклизма хорошо еще, что не пронесло. Тоже реплика. Опять хохот. Старлей мылит голову водиле, а тот, маленький, рыженький, с широкой грудью в светлой шерсти, разводит руками, хлюпает носом и трет скулу — на ней содрана бляха с пятиалтынный, треснулся он там, у себя в кабине. Хорошо еще — вообще не убили. Такую каменюгу своротил, это ж надо!

— Ну, братан, ты мосёл!..

— Да я... Ну, мужики, не видно же было... Черт... хрен ее знает, стена эта... Не видно! Я сам чуть не обо...!

— Да ладно, братан, все в порядке!

И ничего: сели и снова поехали. Даже слегка развлеклись: разговору хватило до самого места. Тем временем ровный небесный лик выпучил шарообразное солнце, и оно запекло беспощадно. Справа по борту у нас произросла полоса абрикосовых и алычовых деревьев, и мы по двум выдолбленным в дороге колеям плавно подкатили и, дернувшись, встали. Полезли из кузова, старлей поорал и пропал куда-то, а мы закурили, пуская вкруговую редкие сигаретки. Я сошел с тракта, прыгнул через арык в форме желоба — дно его заросло сорняками — и полез на абрикос. Толстая, как сам ствол, ветка росла невысоко над землей и загибалась кверху, словно дерево заботливо подставляло мне плечо. Я по-обезьяньи схватился за чешуйчатую эту руку и вскинулся наверх, уцепился за один из рогов раздвоенного ствола — оп, оп — и я уже уместился в расщелине неряшливой кроны, уперся ногами в одну ветку, руками вцепился в другую и стал раскачивать. Поодаль шумно замахали конечностями другие деревья, и drobный град заколотил по земле.

— Давай еще! Давай!

— Мне-то оставьте, э!

Треск, вздох листвы, веселый визгливый мат — кто-то не удержался и пал вслед за плодами, ломая колючие сучья — они, сучья, выросли по ходу падения и, пружиня, уберегли недотепу от слома шен. Я соскальзываю с дерева, бегу посмотреть — это опять шофер! Вот кусок прикола-то, тридцать три несчастья! Ржем, пихаем попутно в жадные пасти рассыпанную под ногами добычу. У каждого вокруг рта образуется липкий овал, сок пузырится на губах, звучно плюющихся косточками.

— Строиться! — крикнул старлей, напрягая свой яйцевидный небритый кадык, и тут же сержанты заголосили, как эхо, бесконечно множа это же самое: «Строиться!»

Ах, как хорошо мы тогда поработали! Вы и представить себе не можете. Можете? Извините.

Сперва перед строем нашим, ослабшим коленями от солнца и фруктов, зашныряли загорелые люди, мужчины в ковбойках с засученными рукавами и женщины в белых козырьках.

— Пошли, э, слышь!

Низенький, белозубый кореец, черный ежик волос торчком, легко, как мыльный пузырик, летит впереди, прыгает по кочкам, на ходу оборачивается, машет рукой, отверзая ослепительный рот и совершенно пряча зрачки.

— Давай, давай!

Еще шаг — и мы внутри полого шара, и верхняя полусфера его — голубой шелк, шитый золотом, а нижняя — черный рыхлый репс, меж рубчиками которого протянуты нитки розово-желтого и золотисто-древесного жемчуга.

— Лук, ребята. Так. Вот вам сигареты. Вот сетки. Давайте, ребята!

Быстро-быстро лопочет кореец, тычет в руки нашему старшому, рябому сержанту, пачку сигарет, швыряет у истока грядки моток мелко-ячеистых сеток и улетает куда-то вбок, упруго толкаясь маленькими ножками в кедах. Нас четверо: сержант, шофер, я и мой приятель (это я о нем рассказывал; а тогда он еще не описался; вы извините, что я так перекакиваю с одного на другое, как кореец с грядки на грядку, просто в голове все смешавшись; извините).

Скидываем созревшие кителя, майки и, с наслаждением-кряхтением подставляя жгучим лучам покрытые липкой изморосью спины, споро набиваем сетки крупными блестящими луковицами. Курим на ходу, жадно тянем в себя горький дым, обжигаем губы.

Лучи уже отвесно падают из дыры в верхнем шелке, и прямыми столбами врываються в землю. Это полдень. Пот

крупными каплями сочится из-под панамы, щекочет корни волос и заливает глаза.

— Давай, давай, ребята! Скоро обед.

Обед! Ого!

Повсюду на поле по-муравьиному взятыся, медленно двигаясь вдоль грядок, такие же группки, как наша. Блестят голые спины, ухают, падая в лоно борозд, полные сетки. Кореец наш возникает рядом, вертится мелким заводным чертиком, подбадривает, подстрекает, набивает сетку-другую и снова куда-то уносится.

— Они, слышь, п-подрядчики, — говорит сержант, слегка тормозя звуки в толстых губах; садится на ребро грядки и закуривает; лицо у него в серых крупинах, среди которых пот чертит блестящие борозды. — Я спросил: он-ни здесь с весны еще. Приезжают семьями, берут землю и л-лук растят. Пашут, сажают — все. Теперь вот сдают. Деньги нормальные.

Мы втроем валимся вслед за сержантом и тоже курим, блаженно глядя, как солнце одолевает зенит.

— Эх, скорей бы обед, — говорит шофер.

— Р-работай давай, — говорит сержант вовсе не строго. Не пришьешь лычек на голые плечи. Никак.

Ну был обед! Прискакал кореец, поцокал языком, прикинул на узкий глаз, сколько толстых сетчатых кулей сонно поконится на грядке, и крикнул:

— Обед! Давай!

Мы похватали одежду и понеслись вслед за нашим легконогим хозяином, сначала по грядкам, потом по меже, на ту сторону поля, где на ровной травянистой опушке, в тени лесополосы, оказалась брезентовая палатка, а рядом с ней квадратом лежали четыре толстых чурбака, и в центре квадрата, на досках, покрытых чистой клеенкой, расписанной соблазнительными натюрмортами из баклажанов и зелени (соблазнительными, невзирая на женую дыру на одном из углов, на месте баклажана), стояли уже четыре тарелки и блюда — два: с ломтями нездреватого хлеба — одно, с ожившими натюрмортами — другое. Зазывно светились бочки помидоров, топорщились салатные листья и кинза с укропом, болгарские перцы, невиданно правильных, бутафорских форм, лежали увесистой грудой, а из-под них глядели трепетно-сырые, перламутровые головки маринованного чеснока. Из палатки выпорхнула крошечная смуглая женщина с гладкими черными волосами, собранными в пучок, похожий на хвост чернубурой лисы, и руки ее обнимали большую эмалированную кастрюлю — несколько чешуек было отби-

то — каковая источала такой дивный пар, что здесь я, пожалуй, прервусь. Сейчас. Только закурю, а то слюна замутила.

Вот. Мы зашли в палатку и торопливо полили друг другу на шею и на руки холодной воды из ковша с длинной ручкой, черпая синеватую воду из ведра, которое принес нам хозяин. А через минуту мы уже, обжигаясь, давясь и пофыркивая, хлебали густое варево, рвали зубами чудовищные ломти тянучего грузинского хлеба, впивались в нежную плоть помидоров и, как вурдалаки, сосали ее, чмокали, чавкали и обливались соком и потом, роняли крошки пищи на колени, на грудь и на землю, а уронив, тут же бросали ложку и хлеб и заботливо подбирали. А двое смуглых белозубых человечков в одинаковых холщовых штанах цвета хаки и ковбойках, узлами завязанных на животе, прыгали вокруг нас с довольным кудахтаньем, смеялись и потчевали, что было мочи.

— Давайте! Давайте, еще налью!

— С-спасибо, — сказал сержант и мотнул нам головой, вроде как дозволяя; в оспинах его широкого лица дрожали капли сытого пота, глаза были полузакрыты, и губы тянулись в улыбке, представляя на обозрение широкие, словно у лошади, желтые зубы. — Спасибо; а вы-то что же не кушаете?

— Мы потом, потом, — заулыбалась хозяйка, и мы все согласно взглянули попристальней и убедились, что она молодая и миловидная. Просто красивая. Да, красивая. Знаете, такие корейки бывают на всяческих календариках и рекламных плакатах.

— Держите, держите!

Мы принимали у нее из рук дымящиеся миски и начинали хлебать уже с расстановкой, тщательно жуя хлеб и похозяйски копя ложкой свою порцию в целых поддержанья в последней равномерного порядка. Хозяин подлетел к жене, коснулся губами ее маленького розового уха, и она опять заулыбалась, а он отскочил и скрылся в палатке.

— Ну, ребята, понемножку! — возник он в колыхнувших створках полога. В одной руке у него имелась бутылка с прозрачной жидкостью, в другой — громоздились одна на другой пять граненых стопочек.

— Мм, — сказал сержант и поглядел на нас. Мы сделали большие глаза и закивали.

— Давайте, давайте, — суетливо запрокидывал бутылку в стаканчики кореец. — Понемножку, понемножку.

Кислый аромат чачи повис над нашим пиршеством, и ноздрям стало щекотно. Появилась тарелочка с белыми по-

лосками козьего сыра, хозяин поднял стопку и застыл, похожий на какого-то темно-деревянного божка.

— За вас, ребята! Чтоб отслужить и вернуться!

— Спасибо, — сказали мы нестройно, но с чувством, и в глотках у нас запершило, а мой приятель — тот даже отвернулся и шмыгнул носом.

Потом мы выпили по второй, кашляя и безбоязненно уже роняя слезы в кушанье, а на третий раз всем не хватило, и появилась вторая бутылка. А хозяйка подсела к нам и расспрашивала о службе, а мы блаженно улыбались и говорили что-то о казармах и строевых занятиях, и она охала и потчевала нас, быстро и ловко переставляя предметы на столе своими маленькими ручками. Воздух перед нами плыл и качался, бликовал зеленым, и в наши разморенные глаза исподволь вползал зыбкий сон.

Но всего о службе мы им рассказать, конечно, не могли. Потому что *секретность*. Эх, пропади она пропадом. Кому она нужна, в сущности, эта ваша секретность! Что? Я не кричу.

Хорошо посидели. И покурили. И побалакали.

— Давайте, ребята! Давайте, грузить надо!

Корец — все ему нипочем — опять полетел по полю, взбивая пятками темную пыль. Мы — за ним, заковыляли небыстро, с усилием свой вес перенося со ступни на ступню. Ездил массивный тягач с длинным прицепом вдоль дочиства обобранных грядок, двое — сержант и шофер — влезли в прицеп, а мы с приятелем брались за сетки и, раскачав, подавали наверх.

— Ух!

— Эй, держи ты, черт, не видишь — провисло!

Сетки длинные, плотно набитые, тяжкие, словно обмякшие бессознательные тела. Пот нас прошиб, застоялся в воздухе запах через поры сочащейся чачи, и облепило нас луковой шелухой. Появились у тягача еще хозяева, привели с собою своих солдатников, наших, то есть, сослуживцев — тогда закипело. Все ползет и ползет тупорылый тягач, мы все кидаем да кидаем: нагнулся, пальцы в ячейки просунул, распрямился и руки выбросил вверх и вперед — раз! Подхватили. И опять нагнулся. Скоро на пальцах означились глубокие багровые борозды, а спины стали отказываться разгибаться. Хмель повыветрился, голова стала пустой и никчемной, а все тело озябло под липкою пленкою пота.

— Эх, солдаты! Сколько служите? — крикнула из кабины черноусая голова и сверкнула провалами зенок.

Мой приятель поправил очки, посмотрел мимо черных усов на ставшее палевым небо, наклонился и хекнул, вырывая из борозды очередную большущую сетку. Сетка внезапно обвисла на его побелевших пальцах, грохнула в борт, и приятеля стало заваливать набок. Я к нему подскочил, подставил плечо и осел.

— И-эхх!

Перекинули.

— Что ослабли, военные?

Ослабли, ослабли.

— Ладно, хватит. Все. Закрывай. Поехали.

Зарыхлили колеса сыпучую почву, оставляя на ней цельнотканый узор — форсистую елочку. А мы сели перекурить.

— Э, ребята, еще немного пособираем?

Наш кореец; неутомимый — даже на месте не стоит, приплясывает.

— Идем, — говорит сержант и тяжело подымается.

Идем, но работа уже не идет. Лениво пихаем лук в сетки, лениво ворочаем косными языками слова ни о чем. Глядим, как на чистой коже неба расползается гадким кровоподтеком мрачно-бурая туча, и на глазах чернит, застит бледный солнечный глаз.

Тут-то мы и сцепились с шофером, а из-за чего — хоть ты тресни, не помню. Не то я его толкнул тазом, когда нагибался. Не то он мне толкнул какую-то гнилую телегу — типа: «хрен ли шлангуешь». Короче, слово за слово, толк да толк, да «ты кто такой», да «ты чего хочешь», да, наконец, «иди ты» сами знаете, куда — и схватились. Он меня лягнул сапогом в ляжку и наметился в левый мой глаз кулаком. Я мотнул головой, и кулак его соскользнул, зацепив только бровь. Он тогда развернулся на правый глаз, а я тут и ткнул его в губы и тоже лягнул сапогом. Он ноги сдвинул и поймал мою ногу. Я тогда замолотил кулаками в его гулкую красную грудь, и ногу он выпустил, зато двинул мне тоже в губу, и губа стала толще обычного. На этом моменте, до которого, собственно, прошел тоже момент, между нами клином вонзился сержант и бугристыми своими плечами распер нас на безопасное расстояние.

— Э, обурели! Нашли место и время!

Получили мы по затрещине широкой ладонью, потеряли затылки и разошлись, гордо сопя и ковыряя опухшие губы, каждый свою.

А тем временем небо, посозерцав нашу битву, совершенно заплыло тучею и пролило первые капли, крупные и одинокие. Капли прижились на луковицах и заблестели.

— Э, давай, побежали! Сейчас грянет!

Мы схватили пожитки и побежали, неловко взрыхляя почву сразу потяжелевшими сапогами и прислушиваясь к глухому ворчанию неба. Воздух сразу стал плотным, и ветер засвистал в лесополосах.

В палатку хозяйскую мы ворвались в самый миг, когда сверху треснуло что-то, и шумливая пелена сразу обрушилась вниз, причитая журчливо.

— Ох ты! — улыбнулся тревожно кореец. — Дожди, дожди, ребята! Лук бы не погнил...

В палатке было тесно, тепло и уютно. У входа на вешалке висели две брезентовые робы и длинный прорезиненный плащ, стояли под ними две пары резиновых сапог — те, что побольше, хозяин, присев, стал натягивать. По стенам было устроено два топчана из матрасов и одеял, а в углу грелась электроплитка, и хозяйка, сидя возле нее на корточках, доставала из большой кастрюли очищенные картофелины, встряхивала их, так что летели мелкие брызги, и резала тонкой соломкой в глубокую чугунную сковороду. Хозяйка улыбнулась нам тоже, но ласково и приветно.

— Садитесь, сейчас будем кушать.

— Д-да куда кушать, — усомнился сержант. — В-вы нас так накормили...

И второй раз накормили. Правда, правда! Накормили и напоили.

Мы, пока жарилась картошка, а хозяйка уснащала растеленную прямо на полу клеенку разносолами, расселись по топчанам, причем мы с рыжим водилой сели на один, чтоб не смотреть друг на друга. Я извлек из испода своей панамы иголку и стал выковыривать из пальца занозу, невесть как подцепленную.

— Ну-ка! — поразилась хозяйка, смеясь глазами-щелками. — Иголки у них!

— Все свое ношу с собой, — выдал я важно; а чего было важничать? — подумаешь, старый воин!

Картошка дымилась, чача благоухала, хозяйка улыбалась и потчевала, дождь блудливо обхаживал брезент нашего утлого обиталища.

— Хоть бы он подольше не кончался, — сказал мой товарищ и поглядел поверх очков на колыхавшийся полог палатки; глаза его были влажные, хотя в них не капало.

— Да, — вздохнули мы все и даже сержант.

Но он кончился. Дождь. И нам пришлось выйти и захлебнуться разреженным воздухом и идти к своей машине. Подошвы с сочным чмоканием уходили на вершок и более в

густое месиво почвы, и на ногах у каждого вскоре оказывались ощутимые вериги. Подойдя к машине, все начинали колотить сапогами об колеса или стволы ближайших деревьев, сырые комья веером разлетались от сапог.

— Ну, давайте, ребята, — сказал кореец. — Спасибо вам. Счастливо. Дослужить.

— Спасибо вам, — сказали мы четверо, и сержант запылул дважды: на «спасибо» и на «вам».

— Вот, — кореец протянул сержанту холщовую сумку.

— Что это?

— Лук, помидоры, перец. Покушаете.

— Нет, нет, — отказался сержант. — С-спасибо. Куда нам.

— Берите, берите, — убедительно проговорил кореец. — Берите, берите.

— Возьми, — показал мне сержант бровью на сумку, и я взял, а он отвернулся и стал прикуривать, поводя широкими плечами.

— Спасибо, — сказал я.

Потом мы ехали к части по той же тряской дороге, но ухабы не пугали нас больше. Мы даже не присаживались, а стояли в кузове, держась за борта, и на рытвинах, ухая и хохоча, животом ловили секунды полета, а ртом — рваные ошметки встречного воздуха. Как-то очень быстро завечерело: вдруг заплывали вокруг темные хлопья, на глазах стали расти, шириться, пухнуть, потом, словно кто-то выключал беспорядочно натыканные невесть во что лампочки, из матово-серого пространства стали выпадать куски, обнаруживая за собой черные, как зрачки, провалы, и в какие-то четверть часа темнота скомкала и проглотила серую бумажку подмоченного дня. Распогодилось, и небо стало ровно-синим, только по краям громоздились вычурные горы пламенных расцветок, словно заменяя собой горы настоящие — те стали просто вышкой пелены на горизонте. Мы стояли у бортов, и разговоры наши журчали неспешно-негромко, как подспудные ручьи. Мы принялись к сырому вечеру, подслащенному ароматами далеких перезрелых плодов и дивных водочных испарений, шедших буквально от души.

Мы застонали в два десятка глоток, когда угадали в плотных сумерках очертания низкого домика и массивных ворот. А когда мы въехали в эти ворота, и дежурный по части, высокий чернявый капитан в особенно большой фуражке, надвинутой на черные валики бровей, выстроил нас перед КПП, и старлей стал скороговоркой докладывать, то тут произошла беда. Потому что на дорожке, ведущей к

штабу сквозь кучерявый газон с большим бюстом Маркса среди высокой травы и ровных берез по периметру, объявился вдруг командир наш, отец, полковник, волею которого (в том числе) мы тогда так славно поели. Капитан скомандовал: «Смирно!», командир испытующе отвечивал: «Вольно», чего, разумеется, никто не исполнил — ведь «вольно» — единственная команда, которую можно и даже нужно не выполнить в некоторых особенных случаях.

Так вот, товарищ полковник вышел пред наши очи и прошелся вдоль строя, неся свой уместный живот, и приблизился к правофланговому сержанту, здоровенному детине с очень черными, как будто грязными, щеками и бульдожьим прикусом, и принюхался.

— Та-ак, — сказал командир нараспев.

Пахло. Ничего не поделаешь. Действительно пахло.

Командир прошелся вдоль всей первой шеренги и приказал ей сделать шаг вперед, и прошелся вдоль второй, и вдоль третьей тоже. И еще раз сказал: «Та-ак». И еще потом поговорил минут пять, только это не интересно. Я стоял в третьей шеренге и не знал, куда бы деть руки с сумкой, но командир только понюхал мой жалобный рот и прошел дальше, а ниже не посмотрел.

А назавтра на утреннем построении после завтрака командир, стоя на середине плаца, произнес такую речь (привожу в сокращении):

— Вчера, — говорил командир, и голос его прыгал по бетонным плитам и теребил разболтанную коленчатую мачту, на верхнем конце которой трепыхался кусок красной материи, — вчера группа солдат первой и второй роты ездила на уборку лука. И употребила там алкоголь. Это до какой наглости надо дойти (здесь голос повысился и ударил по первому слогу слова «наглость», род. пад.)! Командирам рот приказываю разобраться и наказать, кого следует (здесь ударным оказался последний слог слова «наказать», инф.). Особенно спросить с сержантов («жантов», — сказала бетонное эхо). Разобраться, почему (эхо замычало) они не следят, не поправляют своих товарищей, не одергивают, в конце концов (голос взвился и запорхал в складках флага; командирский рот обнаружил существенно хищный оскал)! Если надо — подойти, тряхани его как следует! Если он не понимает! Если его не учили! Если он такой хам! Если у него совести нет!

Командир кричал очень, очень громко, и все забирался наверх, не пуская, однако, петухов. Бетон гукал и упруго отфутболивал тяжелые и гладкие, как ядра, звуки. У меня

ужасно заболели уши, и я зажмурился. Затих командир, затих бетонный звон. Дикая, мертвенная тишь ровной пленкой затянула ряды.

— Не за горами пора увольнений в запас, — сказал командир и побродил по небольшому пятакчу. — Если люди, отслужившие два года в армии, не имеют понятия о порядке сами и не могут подсказать своим младшим товарищам, одернуть их, если надо (голос опять возвысился, было, но дрогнул и как бы сдержался), то, видимо, нужно как-то исправлять это положение. Видно, мы тут не доработали. Наверное, следует задержать солдата на какое-то время, чтобы он еще и еще раз («аз, аз» — отскочило от трибуны рядом с флагштоком) подумал над своей службой. Над тем, что такое советский солдат, как он должен жить и служить («что-о!», «ка-ак!» — заквакало в арыках вокруг плаца, заменяя спавших по случаю дня лягушек). Чтобы в запас пошел полноценный («ценный» — выделило эхо) военнотружущий.

— Скончал певец, — выпустил из края неподвижных губ мой приятель. Я улыбнулся краем же. Личный состав тяжело молчал, сраженный словом «задержать».

Вечером мы с приятелем стояли на крыльце нашей казармы и глазели на застывшие разводы заката. Полог ночи никак не натягивался на все небо, на горизонте оставалась палевая полоска, расписанная огненными узорами. Напротив казармы, в открытом душе, окруженном щербатыми плиточными стенками, глухо капала вода. За нашими спинами ватно хлопнула дверь. Вышел рыжий шофер. На ремне у него висел штык-нож.

— Дайте прикурить, — сказал он.

— В наряд заступил? — спросил мой приятель, ввинчивая свою сигаретку огоньком в папиросу рыжего.

— Угу, — попыхал рыжий дымом.

Мы попускали дым. Я не смотрел на рыжего.

— Как мы тогда не расшиблись, а? — сказал он. — Я уже думал все, хана. Вы уж простите, мужики. В натуре, не видел я этого камня и обрыва.

— Да ну, чего там, — сказал мой приятель. — Выехали, и ладно.

— Чего там, — сказал и я.

— Как я жить хочу! — сказал рыжий и крепко выругался. — Ох, мама, как я жить хочу!

Я искоса взглянул на него. Он смотрел на закат. Еще раз хлопнула дверь, и появились четверо.

— Рыжий убежал на тумбочку, — негромко сказал один. И рыжий вправду торопливо забычковал папиросу о перила крыльца и убежал.

— Пошли, — было сказано нам негромко, бегло и вскользь.

И мы пошли. Странно, я совсем почти не помню их лиц. Впрочем, почему же странно: столько времени прошло. Они ведь уволились той же осенью. А я еще служил и служил. И служил и служил. Хотя и не дослужил.

Мы ушли тогда за душ, на спортгородок, и там, среди массивных покосившихся брусьев и длинной вереницы сросшихся турников, нам было сказано, что мы оборзели, и, также, кое-что еще того похлеще. Мы съежались и стояли плечом к плечу под турником, как под виселицей.

— Вы что, салабоны поганые, опухли, а?! — крикнул тогда рыдающе один из четверых, высокий и стройный такой, с черными усиками, как сейчас вспоминается; вот, не всё забыл! И почему бить всегда начинают с риторических вопросов?

Когда мне ударили под ложечку, я успел заметить, что мой приятель уже валится в пыль, а его хватают сзади под руки. Потом меня еще колотили по почкам, а моего приятеля — головой об столб турника. Я ловил ладонями твердые прохладные кулаки и смотрел, как с приятеля упали очки — один из четверых подобрал их, сунул в карман. Наконец, мне разбили мои и без того увеличенные губы, а приятелю — нос, и тогда кто-то сказал:

— Ладно, кончай, мужики. Кровяга. Ну ее на хрен.

— Не дай бог, — я увидел близко лицо с усиками и согнутый палец, — не дай бог, еще раз такая ... повторится. Ясно? Ясно, нет?! — по моей щеке шлепнула тяжелая потная ладонь.

— Ясно, — сказал я, пробуя кровь.

Наутро на бледном лице рыжего я увидел два синяка: один — от бессонной ночи, а другой — от иных причин. То же было и еще с двумя или тремя ребятами нашего призыва. Рябому сержанту-то ничего не было. То есть в некотором роде не обошли и его, только, я бы сказал, согласно занимаемой должности. Ему ротный объявил пять нарядов, как и всем прочим пьяницам, и дневальными с ним в тот же день пошли мы с приятелем.

— Чтоб все блестело, — сказал сержанту дембель с усиками и повертел третью пуговицу сержантова кителя.

Все и заблестело. Прямо зажмуриться впору было. Заблестала ночью вода в бытовой комнате и в комнате ленин-

ской. Сержант, пытая и потев, лично вылил в ту и другую по двадцать ведер и сказал:

— Вперед.

— Ничего, — философически произнес мой приятель, бродя по этим водам и высоко, как цапля, поднимая ноги; сапоги его уже блестели совершенно нестерпимо, — ничего; до утра управимся.

— У меня тряпка плохая, — нудно сказал я, держа в руках чьи-то рваные штаны. — Не стягивает ни хрена...

Впрочем, остальное, разумеется, дело техники, и я не буду вас утомлять. Другой разговор, что наша с приятелем личная судьба чуть было не приняла плачевное направление. Уж очень что-то нас допекали в этих пяти нарядах. Ну очень. А когда так допекают, то могут к этому привыкнуть. Что вот, мол, есть такие-то люди, которых положено допекать. Я не знаю, понятно ли я выражаюсь. Хм! Потомкам наверняка будет непонятно. В мемуарах придется многое разжевывать. Ну, ничего, они проанализируют и прокомментируют. Они умные будут, наши потомки.

Был, короче, такой момент, когда показалось: все, допекли. Вам, как современникам, должно быть понятно. Показалось. Ан нет.

Ан нет. Судьба. В том судьба, что, как я уже говорил, приятель мой описался, а меня, как я тоже, кажется, упоминал, посадили на смену.

Да, я забыл еще рассказать, что ту сумку, которую дал мне тогда кореец, я в первый же вечер отнес подальше от казармы и заныкал в развалинах старого тира. Как в романах — отвалил большой камень, в образовавшуюся ямку поместил сумку, камень привалил и заметил место по зарослям репейника и выполненному белой нитроокраской неприличному рисунку с такой же подписью на обгрызенном останке стены тира. Дней десять, пока то да се, наряды да прочие труды, не мог я улучшить время провести припасы. Наконец, как-то вечером смылись мы с приятелем из казармы, отвалили камень, и в носы наши шибануло сладковатой прелью. Сгнило все. Особенно лук. Лук гниет похоже на человеческое тело — плоть его делается мягкой и осклизлой, из нее сочится светлый гной, а кожица отстает напрочь слоями. Ну, мы перцу погрызли — он лучше остального сохранился, хотя извозился порядком во всем прочем. Погрызли мы ценные места, а остальное бросили. Жалко было.

А те ребята, что нас попотчевали тогда на спортгородке, к сожалению, сделали только хуже, потому что командир наткнулся на каких-то побитых — не на нас, на других —

и пришел потенциальным уволенным в запас еще и неуставные взаимоотношения. А это, сами понимаете, вообще не фонтан.

Ну, да Бог с ним со всем. Вы не думайте — я хорошо понимаю, что несколько, так сказать, злоупотребил вашим вниманием. Ну вышло так длинно, что тут сделаешь. Что? Да, да, сейчас. Сейчас же. Вы что, уходите? Напрасно: ей-Богу, я сейчас начну, наконец, про секретность. А то действительно: секретность, секретность, а сам про какое-то недержание и про лук. Смешно даже. Ха-ха-ха.

Да. Так вот вам, значит, картинка. Это уже почти совсем секретно. Видите, это вот аппаратура. Такие шкафы, а в них ручечки, лампочки, кнопочки, всякие там табло и шкалы, и все это мерцает, мигает, гудит, звенит, и Бог знает чего только не делает. А это не стол, нет, это тоже такой аппарат. На нем загораются цифирки, и из него — видите? — торчит на витом шнуре переговорное устройство. Микрофон, то есть. Переговорка, если уж совсем по-простому. Нет, я не могу рассказать, как это все работает. Нет, не просите. Вы что! Это же совсем секрет. Вот вы, чем секреты выведывать, обратите лучше внимание на этого солдатика. За столом, да. Такой маленький, лобастый. Видите? Это мой, так сказать, наставник. Я у него стажировался. Ходил с ним на смену. Что такое смена?

Смена — это когда солдат живет не как все прочие люди, включая даже остальных солдат, которые не совсем люди (помню, в магазине у нас какая-то женщина крикнула продавцу, грузину, заросшему по всей поверхности головы седою щетиной: «Отпускайте сначала людям, а потом солдатам!» — и ее можно понять, я вам скажу) — так вот, солдат на смене живет не как люди и прочие солдаты, а согласно совершенно своеобразному распорядку. Как-то: все люди и большинство солдат имеют обыкновение вечером ложиться спать, ночью этот сон производить, утром подниматься, а днем жить и работать, и так до следующего вечера. В нашем случае это не так. Спать лечь действительно можно вечером, но вот встать при этом есть возможность посреди ночи. Зажигается, знаете ли, свет вполнакала, ходит меж коек дневальный и трясет спящих бойцов. Стоны и проклятия оглашают спальное помещение, опухшие вонны, раздирая рты в чудовищных зевках и безжалостно терзая вислые мешки под глазами, поднимаются, тяжело скрипя койками, пихают свое затекшее тело в обмундирование и постепенно стекаются ко входу в казарму. По пути они мочат лицо в умывальнике, лязгают зубами, рычат и всхлипывают. У двери они жмутся

к стене, стараясь попасть задом на жгучую батарею, и дрожат, дробно стуча зубами и избегая шевелить окостеневшими членами. Наружу никому не хочется, потому что там поздняя осень, ветер, который тщетно пытается погонять прелые листья, липнувшие к асфальту, там промозглая колодезная тьма, которую еще надо одолеть, прежде чем доберешься до теплого помещения.

Но вот появляется старший смены, долговязый сержант с голосом льва. Он такой же заспанный, как и все, но ему еще и распоряжаться, так что можно человеку посочувствовать.

— Строиться, — роняет сержант себе под нос, и закопченный фонарь над входом зябко вздрагивает от этого рыка.

Все сбиваются в кучу у входа, стремясь пропустить вперед побольше своих сотоварищей. На улице долго и неприкаянно топчутся, пытаюсь упорядочить свое расположение. Наконец, строй образуется, и кто-то нервно кричит:

— Пошли уже, что ль! Не май месяц!

— Ша-ом ма-аш! — зеваает сержант, и строй срывается с места и идет, идет быстро и, все убыстряя и убыстряя свой ход, мерно дробит сапогами асфальт и шлепает в такт по сапогам лапами шинелей, имея как бы две цельные ноги на всех и одно на всех горячее желание — поскорее пойти.

Доходит. До столовой. Там, заботами начальства, смену поят чаем. Никто не присаживается, чай, желтый, как ослиная моча, выпивается в молчании судорожными глотками, заедается кусочком сахара и ломтиком хлеба, после чего все снова поспешно строятся, с удовольствием размеря потеплевшее дыхание и перекатывая внутри себя чудесно обожженный желудок.

Дальше мы пропустим ряд секретных подробностей и сразу попадем в заповедную вотчину лампочек-кнопочек. Вот, видите ли, я там сижу на кресле-вертушке, обтянутом с целью тепла старой шинелью, на таком же кресле сидит мой наставник. Ребята, которых мы сменили (теперь понятно, почему называется «смена»? а, сразу было понятно? ну, хорошо), уже ушли в роту, с тем чтобы спать до утра (видите — они встают, как все люди, а вот ложатся не как все). Ночью, вообще говоря, делать на смене особенно нечего. Тем более, в такой мертвый час, когда, говорят, и лошадь с места не сдвинешь (лошадь не сдвинешь, а человека запросто — ага?). Наставник мой дремлет, упершись подбородком в грудь и выпятив несколько пухлые губы. Мне тоже очень хочется спать, так хочется, что мозг болит, как ушибленное колено, а глаза могут и не закрываться: изображение тес-

ного мира пропадает по временам само. Но спать мне нельзя, потому что не положено по сроку службы. Я имею перед собой различные секретные бумажки, я гляжу в них, больно растопыривая глаза, я изо всех сил тяну веки к бровям, а брови к темени, я твержу содержание бумажек наизусть. Я должен много знать и уметь, чтобы научиться работать самостоятельно и с честью заменить своего наставника, когда он уволится. О, когда он уволится (летом!). Я уже сам смогу быть наставником. Я поднимаю глаза и смотрю на электронные часы, которые висят над входом в нашу каморку, — мы отделены от большой комнаты, где сидит дежурный офицер, шторами цвета заварного крема. Часы подрагивают большими зелеными цифрами, меж коими мигают две точки, расположенные подобно знаку деления. А сбоку, справа, пониже больших цифр, быстро-быстро, словно дергаясь в икоте, меняются цифры поменьше. Я смотрю на цифры, они говорят, что сейчас 2:43 и 36...37...38 секунд, я смотрю и смотрю, и уже ничего не вижу... точки вымигивают себя из черноты табло, и в глазах моих отпечатываются новые цифры: 2:45 и 19...20...21 секунда... ого, значит я заснул и спал... мм... одну минуту и, примерно, сорок три секунды. Я оглядываюсь на наставника. Тот длинно тянет в себя воздух, с утробным кряхтеньем выкручивает свое тело под шинелью, внакидку надетой на плечи, встряхивает головой и открывает глаза.

— Что, рубишься? — говорит наставник, изыскивая в своем гнусавом тенорке басовые ноты.

— Нет, — говорю я, разевая глаза.

Наставник говорит нечто вроде «гркххмтцц», встает и с выражением страдания на лице идет в угол, за аппаратуру, где обильно сплевывает в ребристую пластмассовую урну цвета детской неожиданности. Возвращается, говорит «охмт», выдвигает в своем якобы столе узкий ящичек и достает отвертку. Вертит ее в руках и раздумчиво глядит перед собой, охает, фыркает и невероятно глубоко запускает в ноздрю мизинец. Глаза он поднимает при этом вверх и словно прислушивается к событиям в собственном носу. Наконец, достает мизинец, отирает его о подкладку шинели, сбрасывает последнюю на кресло, кряхтя, приседает на корточки и лезет куда-то под стол.

Чегой-то у нас гнилью пахнет? — доносится из-под стола. — И не первый день. Прямо мочи нет никакой.

Я съеживаюсь под своей шинелью. Потому что я догадываюсь, откуда пахнет.

Наставник копается под столом, что-то там урчит и мурлычет и как будто мычит какую-то мелодию. Высовывается рука и укладывает на стол маленькие винтики с шайбочками, потом наступает пауза, что-то звякает, и на стол ложится металлический прямоугольник гадкого серо-голубого цвета.

— Спа-койна! — говорит наставник неизвестно кому. — Снимаю.

На столе появляются две эмалированные кружки, несильно побитые — черных пятен мало, и они невелики. Затем, змеясь, из невидимой ниши вылезает кипятильник, устроенный из двух заржавленных бритвенных лезвий «Нева», нескольких спичек и толстых зеленых ниток, потом появляется ополовиненная пачка грузинского чая «Экстра», две чайные ложки с прилипшими старыми чайинками и одна ложка столовая, с погнутым черенком, и, наконец, две пачки печенья с бледными цитрусами неизвестного вида на обертке.

— Охо-хой, — вздыхает наставник и тянет обратно со стола металлическую крышку и винтики, — чай кончается. Надо домой писать, чтоб прислали. Индийского.

Он возится еще с минуту, пристраивает крышку на место и вылезает со словами:

— Знаешь, как называется эта бандура? — он хлопает по мигающему цифрами столу.

— М? — вопрошаю я.

— Большая нычка! — говорит наставник и радостно лает, то есть смеется.

— Нычка — первое дело, — говорит он и тяжело опускается на колени возле стола, сбоку. — Без нычки — никуда. Ныкать надо все. И тщательно. Запомни: ты должен научиться правильно использовать аппаратуру во всех смыслах. Понял?

— Понял, — говорю я и чувствую, как губы мои неудержимо растягиваются.

Наставник отдирает от пола тяжелую узкую крышку метра в полтора длиной — такие крышки уложены у нас вдоль длинных стен нашей каморки, под ними, крышками, в неглубоких могилах, — скрученные пучки толстых кабелей. Наставник запускает вглубь руку и, пошарив, достает поллитровую банку грушевого повидла, полную почти на две трети.

— О! — говорит он. — Нормально!

Вслед за повидлом появляется пустая трехлитровая банка, и крышка ложится на место.

— Сходи за водичкой, — говорит наставник и протягивает банку.

Тут входит дежурный, колыхнув обе шторы. Он майор, у него один золотой зуб, а остальные — свистящие.

— Я пошел спать, — говорит он, причмокивая и глядя куда-то мимо наших приготовлений. — Будить как обычно.

Еще он дает некоторые указания, которые секретны и потому неинтересны.

— Понял, товарищ майор, — понятно говорит наставник, деликатно уводя банку и кипятильник несколько за спину.

Майор без энтузиазма оглядывает наши аппараты, нудно зудящие, и скрывается, а наставник говорит с чувством:

— Мужик!

Я иду за водой. Для этого надо пройти сквозь большую комнату, где на стенах висят обшарпанные карты и наглядные пособия, забранные в стекло, и расставлены еще разные хитрые аппараты, за которыми дремлют отягощенные долгой службой мои старшие товарищи. Надо выйти через обитую крашеным железом дверь в тесную рекреацию, за которой лежит длинный коридор с мутными окнами по одной стороне, надо не идти в этот коридор, а свернуть и спуститься на несколько ступенек вниз и, уберегая голову от низкой притолоки, толкнуть еще одну дверь, тугую и скрипучую, и оказаться в ревушей ночи, где на небе клубятся неясные тени. Я опускаю голову, нахлобучиваю поглубже шапку, прячу лицо в воротник шинели и бреду против визгливого ветра, с усилием упираясь ногами в землю. Я сворачиваю за угол и приближаюсь к ограде из металлической сетки. Ну вот, дырку опять кое-как затянули толстой проволокой, значит, придется перелезть. Я осторожно ставлю банку на ровный железный каркас ограды, которая доходит мне до подбородка, кладу руку на каркас же и, что твой гимнаст на снаряде «конь», единым махом перелетаю на ту сторону. Снимаю банку и бреду опять — теперь ветер уже толкает меня в спину, грубо и порывисто — бреду к длинному каменному сортиру. В сортире темно, только мокрый каменный пол ловит лунные блики. В одной из ячеек мерцает огонек — какой-то дневальный неспешно мыслит в силу ночного досуга, на барьере — калачик его ремня, придавленный штык-ножом; шуршит газета в ленивых руках. Я чавкаю сапогами по вечной жиже, упругая струя, пузырясь, бьет в банку, и я повторяю свой путь в обратном направлении, дуя в охолодавшие сырые руки — поочередно в одну и другую.

— Принес? — говорит наставник. — Мужчина!

Я ставлю банку на стол и ворочаю застывшими щеками. Наставник сосредоточенно опускает в воду кипятильник и тычет штепселем в невидимую розетку где-то в недрах универсального стола.

— Постели, — кивает он, и я беру с дальнего конца стола плотный, изумительно цилиндрический рулон гладкой и жесткой белой бумаги — такие рулоны, только огромные, бывают еще в типографиях — отматываю добрую ленту, лихо отрываю ее, чиркнув по ребру стола, затем — еще одну, и устраиваю на столе скатерть, подоткнув с двух сторон бумажные излишки. Расставляю угощение.

— Нет, это просто охренеть можно, — говорит наставник, завороченно наблюдая, как за потеющим стеклом банки вода начинает мутнеть и рождать ободок из мелких пузырьков. — Откуда ж так несет? А? Мышь у нас сдохла в канале, что ль? Слышь, полазь, а? Может, найдешь.

— Нет, — говорю я и мучительно гляжу на свои руки, в которых задержалась банка с повидлом. — Это не мышь. Это я.

— Чего? — вода в банке начинает дышать и пухнуть половинами больших пузырей, а наставник на это и не глядит. — Чего-чего?

— У меня дрянь какая-то на ногах, — говорю я грубо, нарочно прокашливаюсь, сажусь в кресло, подбираю полы шинели и смотрю сверху себе в левый сапог. Из сапога пахнет.

— Хргрм ке-ке, — говорит наставник, почесывая свой выдающийся лоб, долго идет ко мне два метра, кладет руку на мое просевшее плечо, глядит через мои колени туда же, куда и я, и поводит носом.

— Да, — говорит он и поводит носом.

— Да, — говорит он опять.

Я сижу.

— Ну-ка сними сапог, — говорит наставник гнусаво и тонко.

Я сминаю шинель на себе в неудобные складки и тяну сапог с ноги. Никак. Упираясь подошвою правого сапога в каблук левого, потом наоборот, брыкаю ногами, стряхиваю оба, стряхиваю затем и толстые портянки, ворсистые и бледно-малиновые от старости. На одной из портянок имеется ряд длинных щелей, другая — короче и уже, чем следует.

— ... твою мать! — с чувством говорит наставник. — Что ж ты молчишь; как тебя назвать-то?

— Я не думал, что так будет, — говорю я. — Я думал, пройдет.

Я искоса озираю смятенное лицо наставника; над его лбом нервно топорщится маленький кренделеватый вихор.

— Это грибок? — спрашиваю я, не имея надежды в голосе.

— Нет, — говорит наставник аналитически, — это не грибок. Во-первых, грибок бывает на ступнях. Во-вторых, грибок — болезнь заразная. Вот подцепит кто-нибудь в роте — тогда только держись. Все не уберемся. А это не грибок. Это дурость твоя.

— Сначала были фурункулы, — говорю я. — Как у Карла Маркса. Я думал, пройдут. У меня на животе один был, низко. Он лопнул и прошел. Я думал, эти так же. А они полопались и не прошли.

Вода тем временем бурлит и стреляет паром из лопающихся пузырей.

— Так, — говорит наставник и сурово дергает хлипкий шнур кипятильника; воду мгновенно прекращает пучить, и только отдельные юркие пузырьки отрываются со дна и чертят в жидкости ровные трассы. — Чай откладывается.

Наставник уходит в угол, к урне, и опять лезет в канал, кряхтит и бормочет себе что-то под нос — возможно, проклятия.

Появляется он с продолговатым ящиком, на котором поверх не окончательно облупившейся белой краски намалеван красный крест.

— Аптечка, — объявляет наставник, кладет ящик на стол, отгребает язычки защелок и откидывает крышку. Нутро ящика поделено перегородками на неравные ячейки, и в каждой, заботливо уложенные, покоятся пузырьки, и пачки таблеток, и упаковки бинтов, и пластыри, и пипетки, и разные тюбики; из угла, топорщась, глядит грязноватый пук ваты.

— Эхе-хем, — произносит наставник, копаясь пальцами в этом богатстве; хрустят жесткие бумажки, с сухим перестуком пересыпаются желтые драже, падает на пол морщинистый тюбик. Я поднимаю его. Крем «Детский». Чудо!

— Вот! — говорит наставник, берет двумя пальцами какой-то пузырек и глядит на свет. — Линимент стрептоцида. То, что нужно. Давай сюда ногу.

Он вытаскивает из-под стола массивную табуретку с прорезью в сиденье, грохает ею об пол. Я неловко переступаю босыми ногами по голенищам сапог, комкая распростертые тут же портянки, и ставлю левую ногу на табуретку. Наставник извлекает из ящика стола коробок спичек, достает одну и сует в пузырек.

— Так, — говорит наставник и, морща нос и лоб, разглядывает мою ногу; там на щиколотке имеется с внешней стороны язва с трехкопеечную монету, а кругом, выше и по сторонам, еще несколько маленьких.

— Ф-фу, — отдувается наставник. — Ну и духан.

Он мажет язвы молочно-белой тягучей мазью, кривится и высовывает кончик языка.

— Да-а, братан, — приговаривает он. — Ты прямо империализм какой-то. Так бы и сгнил совсем. Не больно?

— Нет, — говорю я. — Спасибо.

— Угу, — говорит он. — Давай другую.

На другой почему-то вспухла ахиллесова пята. Мажется и она. Затем наставник прилепливает к мази кусочек ваты и прихватывает их бинтом.

— Не туго?

— Нет. Спасибо.

— Угу. Походишь так, а завтра вечером перед сном снимешь бинт и промоешь все водой. Мазь должна высосать всю гадость, так что там будет такое дерьмо... хм... но ты не пугайся. Это к лучшему. На завтрашней ночной смене опять перевяжу. Несколько перевязок — три-четыре, ну пять, — и все о'кей! Вопросы?

— Нету, — говорю я, глядя на забинтованные ноги. — Спасибо.

— Штаны постирай, — говорит наставник. — А то на них остается все это дерьмо, зажить не будет давать.

Он опять втыкает кипятильник в розетку. Банка гудит, как двигатель.

— Ты мутный, — говорит наставник сочувственно. — Что значит: салабон. Разве так можно? Это же армия. Так и сгниешь, никому не нужный. Кто тебя здесь будет лечить? Санчасть? Вот и член тебе по всей роже: там разломают таблетку напополам и одну половинку дадут тебе от головы, а другую — от живота. Выздоровливай.

Я внимательно надеваю сапоги и прислушиваюсь к приятным терзаниям своих ухоженных ран.

— Эх, чумаход, — наставник легонько хлопает меня по лбу маленькой ладошкой; я неловко улыбаюсь.

Вдруг переговорка начинает громко шипеть и шуметь на манер рапаны, поднесенной к уху.

— Ло-об! Ло-бик! Не чемарь! Не чемарь, слышь! А-а-а, о-о-о, у-у-у!

Наставник, кривясь, подскакивает к столу и хватается переговорку.

— Сам не чемарь! — пищит он в микрофон.

— О-о-о! — зверски гудит переговорка. — О-о, лобик! Ну-ка пойдн сюда, мы дадим тебе тумачков!

— Сам такой, — невпопад отвечает наставник и косится на меня; я деятельно обихаживаю шинель, устраниваю ее на себе поудобнее.

— Ну-у, лобик! — вмешивается другой голос, высокий и надтреснутый. — Утром получишь по лобикку! Ты меня понял? По-нял? — голос поет фистулой, наставник брезгливо выпускает микрофон.

— Гхршк, — говорит наставник и, пряча лицо, выключает кипятильник. — Вот, не дадут похавать спокойно, — говорит он ворчливо и бросает мне: — Сыпь заварку, чего сидишь?

Я торопливо кладу в кружки по чайной ложке мелкого пахучего чаю и двигаю кружки ближе к торцу стола.

— Дай ремень, — говорит наставник. У него ремень кожаный, мягкого рыжего цвета, уютно потертый, облупленный, гибкий, им банку не ухватишь, и я протягиваю ему свой, дубовый, из кожзаменителя. Наставник опоясывает ремнем исходящую мутным паром банку, быстро ставит ее на стол, затем приподнимает и льет кипяток в кружки. Летят мелюзговые брызги, наставник охает и отдергивает свободную руку.

Мы сидим и помешиваем ложечками в кружках, чтобы чай скорей заварился. Наставник вынимает ложечку, встряхивает и зачерпывает повидла.

— Ахм, — говорит он, намазывая повидло на печенье, и что-то напевает. Я дую, стараясь своротить с поверхности чая стоящий на ней столб пара.

— Давай, — говорит наставник, кивает на банку и откусывает пол-печенья, — м-м, — он зажмуривается, — давай, давай, не щелкай. Чего как не родной?

— Спасибо, — говорю я и тоже намазываю повидлом печенье.

Мы прихлебываем чай, обжигаемся, фыркаем, шумно дуем, чавкаем печеньем, облизываем губы и ложки. Завариваем и по второй, посыпая чай прямо в смывье, как сказал бы Бабель, большой был чаеман, и опять прихлебываем, но обжигаемся меньше. Наставник, отдуваясь, откидывается на спинку кресла. В его пачке остается три печенины, моя — пуста.

— Ешь, — кивает он и беззвучно рыгает.

— Да не, я не хочу...

— Давай, давай, хавай! Пока дают.

— Спасибо.

Съедаю.

— Кружки ополосни, — зевает наставник, встает и прячет банку с остатками повидла в канал. Я беру банку из-под воды и кружки.

— Я покурю еще, хорошо?

— Угу.

Я надеваю шапку и выхожу в жгучую тьму, ветер хлещет меня по щекам, на небе дрожит грязно-серый студень мглистых облаков, под которыми погребены яркие южные звезды. Я ополаскиваю кружки остатками воды из банки, ветер подхватывает воду, которую я выплескиваю, и расшвыривает ее по каплям. Я ставлю банку и кружки на круглое металлическое сиденье, сквозь которое продет столб, увенчанный похожим на колесо кругом, — это «место для курения» или «грибок», он стоит на специальном бетонном постаменте, тоже круглом. Я не присаживаюсь на стьюлую железку, отворачиваюсь от ветра и прикуриваю. Ветер воет, и я начинаю носом гудеть ему в унисон.

— Я хочу домой, — говорю я и не слышу сам себя. — Я хочу домой! — я кричу, и слова, кувыркаясь, уносятся за угол вкуче со всякой сорной дрянью. Что-то обжигает мои мерзлые подглазья и застывает на щеках. Я оттираю лицо и запеваю в голос песню Б. Гребенщикова «Корнелий Шнапс». На словах: «Вот и конец пути — бултых!» — я впиваюсь в сигарету, затягиваюсь несколько раз подряд, мусоля не имеющий фильтра конец, плююсь горьким табаком, бросаю бычок на съедение ветру и, ежась, убегаю со звуком «брр!». В темном тамбуре я тяжело и счастливо дышу, еще утираю лицо и возвращаюсь сквозь мертвое царство запрокинутых голов, судорожно сглатывающих горл и отверстых ртов — в нашу каморку.

Все аппараты гудят восхитительно сонно и распространяют тонкое тепло. У нас темно, горит только лампа, произрастающая на худом коленчатом стебле наравне с переговоркой, все из того же стола. Наставник против ожидания не спит, а, надув губы, сидит, маленький и нахохленный, в стоящей горбом шинели, руки спрятавши в сдвинутых на манер муфты рукавах, и напряженно глядит на разлитый по столу желтый свет.

— Пришел? Мужчина. Банку заныкай, — он кивает в сторону канала. — Кружки с ложками оставь. Потом сам спрячу. Ломает сейчас.

Я скрежещу тяжелой крышкой, пристраиваю банку среди кабелей.

— Ох, — вздыхает наставник и совершенно исчезает в недрах шинели, только жидкие светлые вихры торчат. — И что я тут делаю, а, братан? Когда меня уволят, скажи мне?

Я не умею сказать.

— Армия, — глухо говорит наставник из шинели, — это самый большой залет в нашей биографии. Армия — школа жизни, но лучше пройти эту школу заочно.

Это стандартный афоризм. Надо ожидать следующего, мне он почему-то нравится: «Дембель неизбежен, как крах мирового империализма, но пока существует империализм — дембель в большой опасности».

— И зачем я пошел? — не говорит наставник афоризма. — И зачем я бросил институт? И зачем я не женился? Вдруг была бы двойня!

Он рассказывает мне о какой-то девочке с длинной темной челкой, и как у них было на раскладном диване с тугим валиком и жесткими квадратными подушками.

— У меня были усы, — говорит он. — И я носил твидовую кепку в серых и черных шашечках.

Он еще что-то рассказывает, монотонно и с большими паузами, шинель, в которую он ушел с головой, теряет человеческие очертания и становится бесформенным кулем, напоминающим сетки с луком. Выпитый чай изнутри приливает к моим глазам и щекам, наносит теплую сонную одурь. Желтое пятно на столе ширится, дрожая зыбкими краями, мигают зеленые циферки на часах и красные лампочки на аппаратах, все это двоится, троеится и множится дальше; кажется, будто во тьму сыпанули пригоршню липких монпасье. Мне очень тепло.

— Э, братан, опух?!

Меня толкает в затылок, и я уже стою на ногах.

— Харю мочишь?

— Я не сплю.

— Чи-во?

— Я так... задумался...

— Я те задумуюсь! Дедушка проснулся, а он бы так и майора проспал! Ну-ка убежал будить!

Я спешу по гулкому коридору, деликатно барабаню в дверь с табличкой «Комната отдыха офицеров». За дверью слышен ленивый скрип.

— Да, — говорит голос, ровный, как у автоответчика.

— Пора, товарищ майор, — припадаю я к замочной скважине.

— Хорошо. Спасибо.

Я возвращаюсь. Наставник уже приобрел деловой вид и работает, то есть что-то кричит в переговорку, поглядывает на аппараты, пощелкивает изредка разными тумблерами и что-то чиркает в толстом, сшитом из резаной желтоватой рулонки журнале. Не поворачиваясь, сквозь зубы дает мне отрывистые указания, и я помогаю. День начинается. Начало его секретно.

— Молись, чтоб я никому не сказал, что ты спал, — бросает мне наставник между делом. — А то будешь летать в роте, как ссаный венник.

Он бросает панорамный взгляд на нашу каморку и, словно задумавшись, цедит:

— Пол у нас грязный... Надо мыла раздобыть...

Ну что ж, помоем. Это потом. Сейчас нас меняют, и мы идем наружу. Небо подернуто льдинистой голубишной, розоватые горы на горизонте испускают белесый пар, и такой же пар идет навстречу из наших ртов. Мы сидим в шестигранной беседке на краю маленького плаца, где всегда строится смена. Я курю, а наставник говорит:

— Надо бы тебе сегодня пошарить, в магазин сходить. Жрать ночью нечего.

— Угу, — говорю я.

— Лоб! Лобуша ты моя!

С гоготом в беседку вламываются двое. Это давешние обладатели голосов в переговорке — низкого, хриплого, и высокого, надтреснутого. Первый имеет узкие заплывшие глаза и вместо рта — безгубую акулюю щель, щеки его, матово-шоколадные, не знают бритвы. Второй густо-густо конопат и брызжет слюной.

— Ло-об! Мы обещали? А-а?

Боже, куда мне деться? Я пускаю дым вовне беседки, и его сносит мне в лицо. Затылком я слышу пыхтенье и гулкые удары и звонкие шлепки, и то, как собираются болельщики, и то, как они предлагают помочь.

— Стро-иться! — гудят полые металлические перекрытия беседки лвыным рыком сержанта.

Я оглядываюсь. Наставник, красный, в растерзанной шинели, подымает с бетонного пола беседки шапку, и ее чья-то шаловливая нога выбивает у него из-под рук, а чье-то колено пихает его под зад.

Строимся, и майор говорит нам секретное прощальное (до скорой смены через шесть часов) слово. Наставника выпихивают рядом со мной в первую шеренгу. Частью глаза я вижу, как стоящий за наставником конопатый носком сапога бьет наставника в щиколотку.

— Ну хватит, — шепчет наставник.

— Ты чего, лоб, недоволен? — шепчет акулоротый и большим шоколадным кулаком тычет наставника повыше хлястика.

— Кру-ом!

Знаете, я не буду дальше рассказывать. Нет, не буду. И не просите. Я же вижу, что вам не интересно. Да, а чего он ушел? Он спешит? А я не спешу. Не спешу, понятно? Могу я хоть немного расслабиться? Могу или нет? Черт, черт! Здесь душно. Откройте, пожалуйста, форточку. Осторожно — тюль. Ну, нет, это секретно. Что дальше, что дальше... Да что я вам, акын, что ли? Плохо дальше. Служба дальше. Я не лезу в бутылку. Я просто говорю, что если я стану все показывать дальше, то мне придется еще раз отслужить такую же службу. На губах. Сначала любые события случаются со всем телом, а потом они остаются только на губах. А потом губы выплевывают их в воздух. Так всегда. Выплевывают, чтобы освободиться. От прошлого. И перейти к текущим делам. Вот видите, ему легко было сняться с места и побежать по делам. А мне нелегко. Поймите. Прошло только две недели. Я сейчас сделаю чай. Вы подождите. Погодите, а?

Ну, вот и он. Прошу вас. Да, зима в армии — это, скажу вам, не сахар. Даже при отсутствии снега, как у нас. Нет снега, только мерзлые рытвины земли, измятой подошвами и колесами, бывают запорошены изредка таким... хм... вот действительно сахаром. Да. И трава по утрам в полиэтиленовой корочке. Хрустит. Главное — пережить зиму. Ну, мы все это пропустим. Я вот еще какую картинку хочу показать. Я подбегаю к КПП и вижу в щель неплотно задвинутых ворот, как подъезжает машина, кремовые «Жигули». Это уже лето, опять лето, второе лето. Я же сказал, что зиму мы пропустим. И весну. Ну их к лешему. Из «Жигулей» вылезает сутулый коренастый армянин невеликого роста, у него рыжие усы и лоб с залысинами. И еще вылезает мой наставник, держа в обеих руках мятую панаму. Форма его исключительно изжевана, просто нет живого места. В каждой складке и морщинке разношенных сапог — залежи пыли. Армянин и наставник идут к окошечку в дежурке.

Дело в том, что мой бывший наставник, а ныне дембель и одной ногой гражданский человек, в середине июня сбежал из части. Я давно его не видел к тому времени. Так бывает, когда живешь на смене — можно долго не встречаться с человеком, будь он хоть твой сосед по койкам. Особенно если не хочешь встречаться. Ну, не то чтобы не хо-

чешь, а так... Не выказываешь стремления. А я не выказывал. Я был «шаристым чуваком». Так меня называли.

— Ты шаристый чувак, — и руку на плечо. Шоколадную или веснушчатую, или волосатую (сержантскую). А другой рукой — шоколадной, веснушчатой, волосатой или еще какой — ошутимо в грудак. В целях закрепления комплимента. Можно эту руку схватить, отпихнуть, хохоча, отпрыгнуть, поуворачиваться. Можно посопротивляться немножко, когда тебя ухватят за шею и потычут головой куда-нибудь в твердое. Только чтоб с улыбкой. Это ведь шутки. *Я принят*. Вы понимаете? Я уже самостоятельно сижу на смене. Более того — у меня стажер, полугодом моложе, длинноносый, большерукий выпускник учебки с выпученными глазами, как при базедовой болезни. Он моет в каморке пол и ходит в магазин за повидлом. Он бодрствует ночью, а я сплю. И почти не встречаюсь с бывшим наставником. Его со смены сняли. Послали на аккорд. Сортир строить. Этот сортир — долгострой. Сколько служу — все его строят, и еще до того Бог весть сколько строили, а когда закончат — вообще неизвестно. Каждый раз, как подходит очередное увольнение, посылают туда по три-четыре дембеля, самых отпетых или, напротив, никчемушных, и они там копаются без надежды завершить этот труд имени товарища Сизифа. Конечно, им в этот сортир не гадить. Они копаются себе полегоньку, еще рядок кирпичей положат — глядь, уже держать их, дембелей, нельзя, просто неприлично. И увольняют. На сортир быть посланным — это значит уволиться в последнюю очередь, заведомо. Все равно ведь не закончишь. А сортир останется, серый, бесформенный и пыльный, как какие-то древние развалины.

Там-то и трудился мой экс-наставник, и по иронии веления начальства — вместе с акуллопастным и конопатым. Я тут многое опускаю, неинтересно, хотя и не секретно. Так, возятся люди, голые по пояс, лениво перемещают свои бронзовеющие пыльные тела в плотном послеполуденном мареве, таскают худые носилки с песком и цементом — тонкие струйки сеются из щелей — сонно месяц раствор, подолгу курят, глядя, как без огня тлеет на жаре сигарета. Я тоже курю, но я сижу перед казармой на лавочке, в тени, передо мной даже фонтан, который силится быть таковым, но не может: слабая струя мякнет и виснет через какие-нибудь пять сантиметров, стекает по узкому жерлу в прозрачную гладь, на которой колышется разнообразнейший сор. А все равно приятно. Я курю и смотрю на сомнамбулические труды дембелей. Я вернулся со смены, и мне еще служить и служить.

А в ночь перед тем, как выяснилось, что наставник пропал, я был на смене, и мне не спалось. И чаю мы со стажером попили, и покурил я, и о жизни порассуждал вслух, а не спится.

— Подшитесь, что ль? — сказал я тогда, отогнул воротник и скосил оба глаза. Поверхность подворотничка напоминала снег, на котором выбивали пыльный ковер. Снял я китель, отодрал с треском подворотничок и отдал стажеру: пусть будет ему тряпка для вытирания пыли с аппаратуры. И потом полез с отверткой под стол и достал пакет с белой материей и катушку белых ниток с иголкой.

— У нас все есть, — подмигнул я стажеру. — Хочешь хорошо жить — изучай аппаратуру. Понял? — ударил я небрежно на «я».

— Понял, — уныло буркнул стажер на «о».

И я оторвал резким и ухватистым движением добрую полосу материи и свернул ее вчетверо и ловко разгладил, водя по ребру стола, и неспешно, налевая и насвистывая, стал пришивать этот чудовищный подворотничок, стремясь, чтобы выступающий край вышел ровным, как гребень в женских волосах. И стажер, тоже стал пришивать положенный ему тонкий подворотничок, и он у него по ободу получился волнистыми загогулинами.

А утром, после завтрака, мы пришли в роту, и я до изнеможения обжигал свое затекшее тело под прямыми блестящими струями нашего уличного душа, и водяная пыль, перебиваясь различными цветами, летела веером от моих плеч и от каменных плит под ногами. И еще я долго, истово драл зубной щеткой рот, и пена обильными хлопьями валилась в бегучие водяные струи и, кружась, исчезала в пасти сточной канавки. Вокруг все делали то же самое, охали и плевались и всхрапывали, как лошади, и колотили друг друга по мокрым звонким спинам. А я стоял голый, прислонясь к стенке, и курил, и смотрел на пересыпанную мелким утренним золотом зелень могучих тополей, окружавших казарму. А потом отправился на законный отдых и сразу уснул, натянув простыню ногами, как тент.

— Подъем, смена! Строиться вышли!

Я смотрю на часы и убеждаюсь, что можно спать еще полтора часа. Обалдел дежурный по роте, что ли?

— Подъем, кому сказано!

Он трясет ближайшие койки, сверху сыпятся салабоны, как абрикосы. Я небыстро поднимаюсь тоже, и мое заспанное лицо изображает удивление путем поднятия левой брови.

— Чего там?

— Построение какое-то.

— Какое?

— Не знаю, мне не докладывали, — рывкает, отдаляясь, дежурный «ефр» несчастный, бедная его мама, лучше бы ей иметь дочь проститутку...

Действительно, построение. Сам командир, как водится, в центре плаца, который уже изготовился всласть пошвырять звуки командирского голоса. Но сегодня голос неожиданно мягок и даже, я бы сказал, растерян и потому деликатен.

— Произошло ЧП, — сообщает командир (а слышно, хотя не кричит). Он снимает фуражку и платком вытирает лоб. Потеет. А еще брюки у него шерстяные — по званию положено. Бедный. Хорошо лейтенантам в лавсановых.

— Произошло че-пе, — повторяет он и прохаживается; плац молчит. — Пропал солдат.

И он называет фамилию моего наставника. Когда пропал — пока неизвестно. Утром хватились те, кто работал с ним вместе.

Я вам теперь скажу, когда он пропал. Вечером накануне, после ужина и перед вечерней поверкой. Пролез под колючей проволокой за старым тиром, где некогда мы с приятелем, лицо которого я стал забывать, прятали не пошедшие впрок корейские овощи, — пролез и убег по зарослям высокой, подпаленной солнцем травы. А на поверке никто не заметил — кому они нужны, дембеля? Их дело кирпичи класть пошибче, да домой улепетывать.

Командир тискает за спиной руки, сцепленные в замок, прохаживается и все так же тихо и слышно рассказывает о том, как надо вести работу с солдатами, чтобы они не убегали. А то ведь все равно поймают. И судить еще будут. Вместо того, чтобы домой ехать, поедешь в дисбат. А зачем? Неужели не дослужить? Командир разводит руками и поправляет воротник рубашки и снова вытирает лоб, теперь просто тыльной стороной ладони. Письмо домой пошлют. Чтоб не прятали, если приедет. Ох, дела!

Наконец, нас отпускают, и я слышу, как конопастый говорит сквозь зубы:

— У, чмошник! — и в голосе его явственна зависть.

Потом мы долго курили и обсуждали чрезвычайное происшествие, а потом пошли на обед, и мне что-то жутко хотелось есть, а это редкость в такую жару. И вот мы потомились, как водится, в строю перед столовой, пока сержант ходил докладывать, и затем он вышел и гаркнул «вольно», и мы сняли панамы и гуськом потекли в столовую, и, когда

я перескочил порог, мне показалось, что я в выгребной яме. Я взглянул в зеркала, висевшие в обширном предбаннике на стенке справа, и увидел там себя и не узнал себя. Какой-то коренастый широкоскулый молодец с бандитскими глазами и растревоженным бобринком на голове. Нет, это не я. А тогда почему мне кажется, что я на помойке — ведь такое ощущение было у меня последний раз почти год назад? Я все не мог привыкнуть к удушливому, кислому смраду, которым пропитан наш пункт питания, недели две привыкал, есть не мог. И привык. А теперь что же?

Мы расселись, и я заглянул в бачок, обычный алюминиевый бачок, в каких у нас подавали насущенный хлеб. Обычная жижа, огненно-красная, с медленными оранжевыми пятнами комбижира, раскаленная, как та геенна. Пар, удушливый, банный. Но я бы поел. Вот ей-Богу. Только запах...

Тут, прямо в бачке, я увидел (и вспомнил) одну зимнюю картинку. Вы простите мой сумбур вместо музыки — я сказал, что зиму пропустим, и пропустили, а теперь вроде как опять зима. Но, видите ли, это воспоминание внутри воспоминания. Я в бачке увидел кость, она выпирала из этой плотной ряски, как остов погибшего чудища, нечисто обглоданный птицами — еще оставались ошметки бурого мяса. И вот мне привиделось, как я зимой, в перерыве своей стажировки, пошел в кухонный наряд. И как мы с моим напарником по мойке ранним утром, еще до общего подъема, когда наряд только что после краткого дурманного сна прибыл в столовую, повезли на свинарник парашу. Нет, параша — это не то, что в тюрьме. Это просто пищевые остатки. Так называют — параша. Вообще, так называют всякое массовидное кушанье — вермишель, кашу, картошку толченую. Все — параша. И отходы — параша. И мы повезли ее. У нас была тележка, сваренная из железных уголков, ржавая, кособокая, с хромыми вихлястыми колесами и длинной железной же оглоблей, за которую нужно уцепиться и тянуть. А на тележке стояло корыто, даже ванна, громадная и тоже очень ржавая, полная до краев этой самой параша. Мы обернули острое ребро поперечины нашей оглобли кусками слонстого картона, ухватились, потянули, тележка подалась вперед, колеса застопорило, потом одно судорожно вертанулось, и тележка рывком стронулась с места. Мы везли ее в сырой предрассветной мгле по тихой части, проезжали озябшего часового, вперившего мутный взор в щербатые двери вверенного ему склада, проезжали клуб с белой испариной на зеленой крыше, проезжали казарму, у крыльца которой дневальный в мешковатых штанах, не подымая опухших век,

ковырял лохматым самодельным венником стылый асфальт. Мы все это проехали по ровной асфальтированной дороге, и нам теперь надо было свернуть с нее и проволочь тележку еще какие-нибудь пятьдесят метров до места. Ах, эти пятьдесят! — они стоили всех преодоленных двухсот и даже двух раз по двести! Тропа эта была словно создана с конкретной целью усугубления тягот и лишений военной службы. Уникальная была тропа. Серые крупные камни и никакой пощады. Первый раз мы застряли в самом начале, и я полез под тележку раскачивать колесо и выклинивать его из камней. Выковырял, не удержался и сел. Напарник подал мне руку, и его одутловатое лицо с пухлыми губами и приплюснутым носом выразило ослиную покорность.

— Прорвемся, — сказал я.

Тележка загромыхала, мы уперлись, застонали и угол между нашими телами и землей составил тридцать градусов.

— Опять застряли, — покорно сказал напарник.

А тележка тут скрипнула всеми колесами, выворачивая их из разболтанных суставов, и стала заваливаться набок. Через борт корыта выплеснулась добрая толика параши и просочилась в камни. Мы выпустили оглоблю — она не упала, а заехала на ржавом узле куда-то набок и встала параллельно земле — и бросили себя с ног до груди навстречу косному металлу.

— Уф, — сказали мы и опасливо упрочили тележку.

Короче, мы доехали, но в течение каждого из пятидесяти метров мы не имели уверенности, что свиньям что-нибудь достанется. Мы подкостыляли к бревенчатой загородке, за которой обычно паслись свиньи. Снаружи стояло еще одно корыто (или ванна), очень большое и в узорах замерзшей параши. Рядом к ограде была прислонена совковая лопата с безобразно расплюсненной рабочей частью. Я взял лопату и вонзил ее в содержимое нашего корыта. Содержимое чвакнуло, и я перебросил лопату в корыто-хранилище. Лопата стукнулась в твердое. Я подошел и заглянул внутрь. Ровная, застывшая, розовато-серая поверхность, а посередине высится нечто вроде холма, серо-палевого, и по нему растекается свежая масса, брошенная мной.

— Э, — сказал я и помахал рукой напарнику, который присел покурить на громоздившиеся поблизости железобетонные блоки. Он подошел.

— А ведь это свинья, — сказал я. — Утонула.

— Жадные, суки! — подметил напарник.

Я потыкал лопатой в каменнотвердую спину погибшей свиньи, поворочал вокруг нее обледеневшую парашу и обна-

ружил уши и часть головы. При движении из недр месива вырвался тошнотворный смрад. Я зашмыгал носом, ткнул его в воротник своей шинели, подышал кислым войлоком и, не сглатывая слюны, стал швырять лопату за лопатой. Потом отдал орудие труда напарнику, а сам закурил. Из низкого барака, стоявшего чуть поодаль, появился свинарь. Он был в сапогах, шапке и черной телогрейке, накинутой прямо на исподнее. Свинарь широко расставил ноги, помогился и направился к нам. За ним бежала большая тощая свинья трупного цвета и пыталась мягким мохнатым ртом ухватить его за сапог. Свинарь обернулся и, хекнув, направленно ударил свинью носком сапога в рот. Свинья заверещала, бросилась к ограде и затерлась об нее рылом.

— Бог в помощь, — пожелал свинарь, подходя.

Он был высокий, дородный, с обширным лбом и объемистыми щеками. Я узнал его — раньше он был поваром.

— Здрóво, — сказал я и встал с бетонной плиты. — Так тебя сюда кинули? Я не знал.

— Угу, — сказал свинарь.

— Ну и как?

В этот момент свинья перестала тереться о бревна, совершила молниеносный прыжок и стала, рыча, ловить на лету ошметки параши, которые летели с лопаты моего напарника. Свинарь ловко пнул свинью под зад, она отскочила и зафыркала.

— Прорва, — сказал свинарь с равнодушной ненавистью и повернулся ко мне. — Все отлично. Малина, а не жизнь. Телевизор. Встаем, когда хотим. Ни тебе построений. От свиней только первое время рехнуться можно. А потом ничего. Кайфовая жизнь.

— А запах? — спросил я; почему-то запах к этому моменту разросся в моих ноздрах в целую всеобщую тучу, и мне стало едва возможно дышать. — Запах! — сказал я громко и с усилием. — Как ты выносишь?

— Запах? — свинарь поднял плечи, закурил и опустил плечи. — Хм... а что запах? Запах — момент чисто психологический.

— Какой? — я начал давиться слюной и потому изо всех сил затягивался уже совсем никудышным окурком.

— Психологический, — умно повторил свинарь. — Недорогая плата за удобства. Я ничего не чувствую.

— А я чувствую, — сказал я.

— Поехали, — сказал мой напарник и поставил лопату.

— Счастливо, — сказал я свинарю. Тот помахал нам и ткнул сапогом в бок свинью, которая вертелась у истекав-

ших парашей щелей корыта и воровато стреляла по сторонам злобными заплывшими глазками.

Мы волокли пустое корыто, оно оглушительно грохало, когда тележку мотыляло на камнях. Я задрал голову и увидел, что край серого ночного неба задрался, и за ним показалась чахлая, бледная свиная кожа чахоточного дня.

Мы приехали и мыли посуду, после завтрака и после обеда, мы потели и задыхались в мокром пару, который подымался от наших ванн, мы, обжигая руки, выхватывали из воды тарелки и бачки, снова окунали их и снова выхватывали и швыряли стопками на длинные столы, обитые мятой жестью, и дули на свои руки и матерились. Потом спускали загустевшую вонючую воду и скребком, обклеенным резиной, собирали со стенок ванн опоясавший их на уровне воды комбижир и стряхивали эту вязкую, как хорошо размятый пластилин, разноцветную, переливчатую — красную и оранжевую и лиловую — массу в сорокалитровый бак для параша. И мне было психологически безразлично.

И вот летом я поглядел в суп и увидел там свинью и почувствовал запах. И кто-то сказал:

— Бля-а! Да это тухлятина!

И все загомонили:

— Тухлятиной кормят, гады, суки!

А какой-то салабон с розовыми оттопыренными щеками сказал:

— Я вчера мясо разгружал. На туше клеймо сорок восьмого года.

И кто-то добавил:

— Эн-зе на случай третьей мировой войны.

И все загоготали. А я встал и продрался к проходу меж лавок и, зажимая горло, пошел к выходу.

— Куда! — загрохотал мне вслед сержант, как тележка. — Команды не было!

— Х-реново мне, — сказал я и выбежал из столовой, и обогнул ее, и сунул два пальца в рот, но почти ничего не вышло, потому что я практически не ел в последние дни. Так, какая-то жижица. И во рту горько — видимо, желчь.

О чем я, бишь, начинал? Ах, да — как я к КПП подбегаю. Ну да, ну да, ведь назавтра же — то есть после того, как случилась эта тухлятина, — я пришел со смены и помылся в душе и собрался перед сном почитать немного. У меня под матрасом была заныкана «Игра в классики», которую я нежданно-негаданно обнаружил в нашей библиотеке, но уже несколько дней я не мог двинуться дальше вступительной статьи и предисловия автора, где говорится,

каким необычным образом следует читать этот роман. И вот я твердо решил двинуться дальше и полез под матрас, и книги там не было. И я стал бродить по казарме и приставать ко всем с вопросом, не видел ли кто мою книжку, не брал ли — потому что, вообще говоря, у нас было принято не то чтоб украсть, а так — взять попользоваться. Пасту ли зубную, мыло ли, крем для обуви, книжку — что угодно. И забыть положить на место. Но если хозяин найдет, то его право забрать, тут без обиды. Примерно так. И я приставал. И кто-то вспомнил, что вот дня два назад увольнялись трое, и у одного была какая-то книга.

— Какая книжка-то была? — спросил меня тот, кто вспомнил.

— Кортасар, — сказал я, стесняясь. — «Игра в классики».

— Да нет, цвета какого?

— Синяя.

— Да, кажется; как раз синяя.

Я представил себе уволившегося два дня назад львиноголосого сержанта, представил его булыжную челюсть и неандертальский лоб, и как он, пожелав захватить с собою в дорогу какое ни на есть чтиво, теперь обдирает мозги, прыгая по уступам кортасарова текста, — я представил все это и дико захохотал. И в этот момент у тумбочки дневального зазвонил телефон. А еще через две минуты второй дневальный вылетел из казармы, громыхнув дверью и едва не обрушив бесполезный пыльный фонарь, — побежал за ротным, как позже выяснилось. А я, в смятении от своей потери, не сразу просек, что вокруг заговорили о бывшем моем наставнике, ныне беглеце, и о том, что, мол, в часть приехал некий армянин и ведет теперь на КПП переговоры с начальством о выдаче последнему этого самого беглеца, каковой беглец находится у него, армянина, и занимается тем, что совместно с армяниновыми детишками копает огород. Все это я уже потом узнал, хотя сведения распространились тогда, как водится, стремительно и понеслись по устам, набухая подробностями. Но через полчаса я-таки допер прислушаться, о чем судачит народ, и сон слетел с меня, и я быстро оделся и побежал на КПП.

И вот я подбегаю к КПП и вижу, как армянин с наставником идут к окошечку. Со стороны нашего офицерского городка быстрым шагом приближаются командир части и наш ротный. Очумевшие от жары и безделья, истомленные толстыми парадными брюками и непроницаемыми для воздуха фуражками, дневальные по КПП с вялой готовностью

отдают честь. Командир их не видит, ротный видит и делает отчаянное движение пальцами. Полковник и капитан скрываются в будке дежурного. Я приникаю к щелям бетонной ограды и вижу, как армянин что-то говорит, смущенно улыбаясь и разводя руками, показывает то на свою машину, то в сторону деревушки, то кладет руку на плечо наставника, который, ссутулившись и подрагивая коленями, смотрит вбок. Командир что-то спрашивает у наставника, тот мотает головой. Офицеры и армянин почему-то смеются. Ко мне подходит один из дневальных и кивает в сторону договаривающихся сторон:

— Слышь, а че ему будет, а?

Из другой роты. Салага какой-то. Я пожимаю плечами. Дневальный открывает рот, но тут его зовет дежурный сержант. Командир и ротный жмут армянину руку, тот запрокидывает голову и хохочет, прищелкивая языком. Качает головой, шлепает наставника по плечу, садится в «Жигули» и, плюнув в сторону офицеров пегим дымом, укатывает. Командир, приобняв наставника, как несмелую девушку, ведет его в дежурку. Затем они с ротным появляются с этой стороны, и я вместе с дневальными отдаю им честь.

— ...все документы, — заканчивает командир фразу. — И ко мне, в штаб!

— Понял, товарищ полковник, — отвечает ротный и марш-бросковым манером начинает движение в сторону нашей казармы. А командир по аллейке направляется в штаб и невольно косится по дороге на Маркса, изрядно засиженного воробьями.

— Пусти, — говорю я сержанту, стоящему в дверях дежурки. Он отходит, я отшвыриваю турникет-вертушку — одной лопастью меня бьет по задку, и я едва не падаю — и толкаю дверь с табличкой «Комната для приезжих». Там на окнах — желтые занавески и потому полутемно. По стенам висят разнообразные плакаты, на которых восковые солдаты со стеклянными глазами идеальными движениями наматывают не ведающие морщины портянки, берут под козырек, пришивают погоны и петлицы, выполняют строевые приемы с оружием и без, набивают на сапоги каблуки и глядят в книжки с надписью «Устав». Посреди комнаты стоит полированный стол, на нем, на стеклянном блюде — граненый графин и два тонкостенных стакана. Под стол аккуратно задвинуты два жестких стула, а еще один выдвинут, и на нем сидит наставник. Над ним, на плакате, среди багровых сполохов, выполненных в кубистической манере, меднолицый солдат в каске со звездой тянет вверх руку с автоматом, не

сообразуясь с анатомией человеческого тела, и разевает рот с тщательно выписанными зубами. Наставник сидит вполоборота ко входу и смотрит на занавески, неявно подкрашенные извне солнцем. Я вхожу, и он медленно поворачивает голову.

— Привет, — говорю я.

— Привет, — говорит наставник.

Я прохожу и сажусь в глубине, под солдат с портянками.

— Куда они? — спрашиваю я о начальниках.

— Документы мои оформлять. Вещи собирать.

— Увольняют?

— Угу.

— В роту не пойдешь?

— Нет, — наставник отворачивается и смотрит на зубастого солдата.

— Я больше не мог, — говорит наставник. — Ты понимаешь?

— Я понимаю, — говорю я.

— Они допекли меня, — говорит наставник.

— Я понимаю, — говорю я.

— Потом этот запах, — говорит наставник.

— Какой запах?

Наставник комкает в руках панаму, растягивает и собирает ремешок.

— Запах, — говорит он. — Запах гнили. Дерьма. Туда же все ходят, когда лень до сортира идти. Я не мог. Не знаю почему. Вдруг мне стало казаться, что я весь пахну: руки, лицо, шея, одежда — весь. Мне даже снится стал этот запах. Мне сталониться, что это я — дерьмо. Что меня сделали, и на меня делают.

На тощей шее наставника ходит большой острый кадык и подпирает подбородок в неряшливой щетине. Мы сидим молча. Потом я встаю, подаю ему руку. Наши ладони встречаются, и мы с брезгливым ужасом глядим друг другу в глаза.

— Будь здоров, — говорю я, пряча руку в карман и тиская там носовой платок.

— Держись, — говорит наставник и криво улыбается только ртом.

Я выхожу из дежурки, иду к старому тиру и по пути наступаю в большую, подернутую засохшей коркой лепешку. Я кричу и сбрасываю измаранный сапог с ноги. Я сажусь на камень, в щели которого глядят бледные стебли, и беру себя двумя руками за голову.

— У-у-у, — говорю я, раскачиваясь, как китайский болванчик. — У-у, мамочка, я рехнулся. Рехну-улся. Господи боже, рехнулся я или нет?

Вы себе не представляете, как хорошо, что меня комиссовали. Потрясающе здорово. А то бы я и вправду рехнулся. Нет, действительно. Этот запах... Почему комиссовали? Ну, дорогой, это некорректный вопрос. Я же не спрашиваю у вашей жены, как именно она предохраняется. Что? Что вы на меня так смотрите? А? Вы, вы, я вас спрашиваю! Я вас спрашиваю, слышите? Отвечайте, раз вас спрашивают! Я спокоен. Я спокоен, говорю. А чего он на меня вылутился? Опоздал и глядит теперь! Подумаешь! Да оставьте вы меня! Э, э, только без рук! Слышь, ты, девочка! Ну, послушайте; ну, пожалуйста! Вот вы лучше взгляните, как я выхожу из части. О, как я выхожу из части! Парадка выглажена, фуражка на бровях. Дипломата у меня, правда, не было. Спортивный баул. Но ничего, никто не докопался. А кому какое дело, правильно я говорю? Ах, как я выхожу! Этот шаг... Ты переступаешь порог дежурки, и обширнейшее небо падает на тебя, резвясь всеми своими барашками. Вся эта голубизна лезет тебе в рот, уши, нос, глаза — невозможно дышать. Легкие словно скомканы — такой трудный, упругий комок где-то здесь, внизу горла... Ха-ха-ха! Как обидно было бы сдохнуть на пороге, как обидно! Как в той хохме про ежика, который забыл, как дышать. Но ведь он вспомнил, он же вспомнил — и дальше пошел! Вы помните, как он вспомнил? За спиной остаются полные бездонной, какой-то иудейской, тоски глаза дневальных — за спиной! А еще дальше, на плацу, новая учебка печатает шаг и орет: «Чтоб со скорою побе-е-дой! Возвращался ты домо-ой!» — и они за спиной! Всё за спиной, и дверь лязгает раз и другой и третий — косяк пригнан слишком плотно, не вдруг закрывается. А мне все равно. Все равно, слышите? Чтоб со скорою побе-е-дой... Хотя какая, в сущности, победа? У нашей войны нет победы. Только — тсс! Это *секрет*.

Тсс! Тише. Никшните все. Вы ничего не чувствуете? А вы? А вы? Тоже нет? Да вы не пяльтесь на меня, вы... понюхайте. Откуда этот запах? Да не смотрите на меня так *все*. Не смотри... А-а-а, я знаю, что вы думаете. Хи-хи-хи. Я вас рас-ку-сил. Вы ждете, что я сейчас спрошу: «Вы что же, думаете, что я сумасшедший?» Вы этого ждете! Потому что все сумасшедшие однажды спрашивают: «Вы что же, думаете, что я сумасшедший?» И тогда всем сразу становится ясно, что он сумасшедший. Хе-хе-хе. И его можно хватать и

вязать. Тут же. На месте. А я так не спрошу! Вот не спрошу, и все. Ясно вам?

Стойте, вы куда? А вы? А вы... Да постоите же, куда вы все! Ну вы что, обиделись? И вы уходите? О-о, как жаль! А я-то думал, что как раз вы согласитесь быть моей вдовой. Я к вам давно приглядываюсь. Да нет, вы погодите. Ну, одну минуту. Послушайте, вас разве не прельщает посмертная слава? Вы знаете, меня тоже. Увы, у меня другой не будет. Но у вас-то! у вас-то! — будет! При жизни будет, я ручаюсь вам, при жизни! При вашей поганой жизни. Я же напишу мемуары, вот вам крест! Я прямо теперь сяду. Вот. Уже сел. Не надо? как это не надо! Послушайте, будьте моей вдовой! Пожалуйста. Редакторы, академики, встречи с читателями. Цветы, машины, дачи, яхты, бухты! Аэропланы. Бриллианты! Диадемы, черт подери! О-о, куда же вы! Но мы еще вернемся к этому — слышите, вернемся, умм, милашка, микрошка... Вернемся-а, слышите-е?

Слышите? Шуршит. И пахнет. Пахнет! Откуда это? Все ушли? Нет? А вы что сидите? А-а, я вижу, вы свой. Вам тоже интересно, откуда так несет? Идите, идите сюда. Поищем. Вы под диваном, я под сервантом. Поехали. Что искать? Вы обалдели? Вы рехнулись? Да вы что же, не понимаете, что где-то здесь сдохла мышь?! Ее надо найти! Я только вчера видел двух: серые, с черными глазками. Пришли, понюхали и ушли, как писала гордость русской литературы. И вот одна сдохла. Это вам не какая-нибудь дурацкая экзистенциалистская тошнота. Это мышь, мышь, которая сдохла и смердит. О-о, как смердит!

Что? Да отстаньте, не время. Какой там сон! Нет, и рассказывать не буду. Не будет кина. Кинескоп сломался. Я же не вечный. Не перпетуум мобиле. Отстаньте, я говорю! Отстаньте! Черт возьми, прекратите хватать меня за руки! Что-о?! А ну, убирайтесь вон! Вон! Скотинна! Чмошник! Козел!

Ну вот, все. Фф-фу, как пахнет. Господи, уберн этот запах! Ну пожалуйста, Господи! Почему везде этот запах? Видишь, мы с тобой распугали всех гостей. Конечно, если так будет пахнуть, все побегут из этого мира. Я первый побегу. Постой, я открою окно. Ну вот, уже лучше. Дай подышать. Как много воздуха, который не пахнет. Сейчас, вот я только встану на подоконник. Ох, как хорошо. Я иду дышать, Господи!

ДЕТИ ФЕСТИВАЛЕЙ

*«Черный младенец лежал на постели
в ее ногах».*

(А. Пушкин «Арап Петра Великого»)

Завтра, я думаю, будет революция. Сегодня днем я решил пойти наперекор общественным обстоятельствам и отправился в институт с таким видом, как будто ничего не происходит. Немедленно, на углу вокзальной площади, прямо напротив салатого здания с башенкой и часами, меня остановил патруль: трое негров в разделенных по вертикали на черное и белое майках с омерзительно нечетким трафаретным профилем Пушкина на светлой левой стороне. Я мог бы надеть такую же или, еще лучше, потрясти одним кусочком картона, имеющимся у меня, — все было бы в порядке. Но мне претит. Я закурил и взглянул на патрульных. Какие у них противные белые зубы! Как лоснится на жаре их кожа — будто наваксенная. Мерзость. Мерзость. Пришлось вернуться в общежитие. В комнате гадкий кислый запах — вторую неделю нет воды, невозможно стирать и мыться. Грязное белье вываливается из шкафа; в щель видны горы невымытой, заскорузлой посуды. Руки липкие, я вытираю их о брюки, — мои замечательные брюки, некогда кремовые, но брюки тоже липкие. Пыль везде толстым слоем. Книги мои раскиданы повсюду неопрятными стопками — давно не выходя, я доставал их, одну за другой, бесцельно, почти в забытьи пролистывал и ронял там, где пролистывал. На полу, на столе, на стуле, на кровати — везде дрожащие, рушащиеся стопки. Невозможно приводить их в порядок. Нет сил ставить их на место — да и где теперь их место?

Вчера ко мне зашла Вика. Она села на кровать, отчего неверная поверхность пришла в движение и ссыпала в кучу несколько томов. Вика спросила:

— Что же теперь с нами будет?

Я не мог удержаться. Я сказал злорадно:

— С нами? С нами ты говоришь? Ну, с тобой-то все в порядке, я думаю. Родишь пару абиссинских негусов — и довольна с тебя.

И ведь кто бы говорил! О, подлец, подлец! Она страшно побледнела, бедняжка. Освещение было тусклым и лицо ее оказалось бледным, как свет неоновых ламп, — в сочетании с распущенными черными волосами это красиво. Плечи ее обмякли, руки повисли меж колен. Она сказала:

— Зачем ты так?

И вышла. Губы у нее очень красные — как сок неспелого граната. В глазах были слезы. Я ничего не сказал.

Мы приехали в Самый Большой Город в одно и то же время — год назад. Как все изменилось за этот год! Как все изменилось!

Я помню, как познакомился с нею. Она была первая, с кем я познакомился из будущих сокурсников, еще перед экзаменами, на собеседовании, в длинной очереди, очень потной и нервной очереди в маленькую аудиторию под куполообразным сводчатым потолком, с одним высоко расположенным окном, полукруглым и в переплете. В аудитории сидели вялые от жары люди и задавали общие вопросы. Толпы проходили перед ними. Университет Гуманитарного Знания — это влекло. Это влекло. Всегда помнишь такие вещи — с кем, когда, где познакомился — есть удовольствие, уютное и неприятное, в том, чтобы выкапывать из памяти подробности знакомств. Потом, правда, странно, что первые впечатления не имеют ровно никакого отношения к дальнейшему общению. Ровно никакого. Мы познакомились в очереди. Вдруг возникло ее лицо в этих волосах, с крупными губами, носом, лбом, со всей этой ее матовой кожей и серыми глазами — очень красивыми, я подчеркиваю, серыми глазами. То кошачьими, то мышиными, то хаки, то маренго. Удивительные глаза. Иногда в них зажигался золотой обод со спицами — это напоминало о колесе Гелиоса или о том колесе, к которому Зевс привязал змеями фессалийского царя Иксиона, сначала в наказание за убийство тестя, впавшего в безумие, а затем окончательно роковым для себя образом влюбившегося в Геру.

Ну вот, она возникла, Вика, и не помню, о чем мы тогда говорили. Впрочем, после собеседования ели мороженое. Она приехала из Казани. Я не представлял Казани. Читал только в газетах, что там бывают чудовищные драки. Она смешно говорила: «Двадцать копеек бар?» — а я должен был отвечать: «Двадцать копеек йок». То бишь «есть» — «нет». Она смеялась. Мы уговорились, что я приду к ней вечером в общежитие. Я пришел, и мы пили чай втроем с ее соседкой, которая впоследствии не поступила. Вика утверждала, что в жизни не видела ни одной драки.

Потом мы поступили и, как бывает, разошлись. У нее образовалась компания. Много разных компаний. У меня образовалось времяпровождение. Я почти никого не видел вне наших аудиторий — всегда полутемных, всегда как будто сырых. После занятий я шел в библиотеку или к себе. Так вышло, что я жил (и живу) один в двухместной комнате.

Абитуриент, которого поселили сначала со мной, срезался на сочинении, и я даже не запомнил хорошенько его лица — помню лишь, что у него была омерзительная привычка по утрам пердеть, задумчиво и часто, по меньшей мере пять минут без перерыва. Мне было все равно: я знал, что он не поступит. Когда он уехал, я выгреб из всех углов пустые бутылки, раздавленные пакеты из-под молока и кефира, дурно пахнущие тряпки, ржавые гвозди, презервативы, рваные носки и прочее добро, доставшееся в наследство от предшественников, залил комнату дустом и уехал домой. Я явился через три недели, вошел в комнату в противогазе покойного деда, который двадцатитрехлетним старшим лейтенантом где-то под Бобруйском принял в этом противогазе командование полком, поставил на пол два чемодана, из которых один был почти полностью забит инструментами, распахнул окна и начал с подметания клопных трупов. Два дня без лишнего шума я приводил свое обиталище в порядок. Комнату на ночь я запираю, а спал на лавочке во дворе общежития, сидя, с очень острым напильником в кармане. Напильник не понадобился. Комната сияла пустотой, располагавшей к мыслительной деятельности. В ней были: кровать, стол, два стула, стенные шкафы, тумбочка (все казенное), книжные полки (мои). Я еще раз съездил домой, в свою милую пыльную Тарусу с зеленым ребристым навесом и флагштоком на стоянке междугородных автобусов, с курами и семечками и кооперативным продмагом и кинотеатром, похожим на склеп, и воспоминаниями о «Тарусских страницах», о которых в Тарусе никто, кроме меня, не слышал, — я туда съездил, поцеловал маму и папу, начинавших стареть и оттого плакавших, упаковал в коробки из-под венгерского вина «Рислинг» половину домашней библиотеки и отбыл «во французскую сторону».

Все это было почти год назад. Могли ли мы знать, Вика, могли ли мы знать? Значит ли твое имя «победительница», Вика?

Как уже ясно из вышеизложенного, студенческую жизнь свою я начал затворником. Я читал. Вопрос: почему я читал? Ответ: потому, что у меня было ощущение потерянного времени. Это маленькая сосущая боль где-то под сердцем, вот и все. Она рождается из воспоминаний о пыльных лопухах — таких же больших, жестких и пугающих, как то животное, которое, помню, приобрела некогда мама в продмаге: это называлось «цыпленок», но размером было с доброго индюка, у него было нестигаемое в сочленениях тело и закосневшая кожа в крупных пупырышках и с видимыми тру-

бочками от перьев; я, еще маленький, испугался этого чудовища и отказался выйти к столу, где оно, приготовленное, высилось. Кроме лопухов и отвратного переростка, мне помнилось еще созерцание горизонта, которому я отдал много сил души: песочно-голубые провальные пространства родины наблюдались мною из-под залитых потом бровей и потому плыли и колебались, как в нечетко настроенном объективе; помню еще натиранный плечо автомат и тошный запах вспотевших гуталином сапог. Все теперь должно было быть не так. Полторы сотни книг с нетронутыми корешками, подбранными один к одному, по разнообразным тиснениям, все-ляли в мое сердце надежду.

Я начал с Пушкина. Стихотворение за стихотворением прочел я четыре тома и перешел к прозе. Прочтя окончание повести «Станционный смотритель», я заплакал и вышел в коридор. По нему, нарезанному косыми ломтями путем преломления солнечных лучей ранней осени, следовал высокий светло-шоколадный молодой человек с глазами, как маслины, черными волосами, гладкими и словно бы смазанными какой-то жидкостью, с неожиданно аккуратным носом. Молодой человек с дьявольской ловкостью испускал меж зубов длиннейшую и очень клейкую на вид слюну, несколько голубоватую, под цвет белков его глаз. Делал он это налево от себя, так как правой рукой обнимал за плечи мою знакомую Вику. Я закурил. Он был очень красив, этот молодой человек. Он был похож на жеребца, мускулистого вплоть до глазных яблок. Славной парой были они — молодой жеребец и вакханка. Пара эта то вступала в кирпичик света и озарялась немного по-театральному, то покидала его и теряла тогда очертания. Вика не торопясь провела по мне надменным взглядом. Они пропали в той двери, из которой я только что вышел. Я отправился на улицу, где было тепло и сухо, как за пазухой опрятного старика, сел в трамвай и поехал в находившийся неподалеку монастырь. Могилки монастыря, убранные кучами разноцветных листьев, хорошо выметенные дорожки и нарядная трехглавая церковь с фигурно зарешеченными стрельчатыми окнами действовали на меня благотворно. Я вернулся и постучал к соседям. Открыло ухушенное подобие давешнего молодого человека: все вроде бы то же, только фигура приземистей и коренастей, кожа изрыта не то оспинами, не то просто крупными порами, зубы плохие, а от волос идет тонкий едкий запах — кажется, мускуса. Впрочем, быть может, и от того пахло — он (я разглядел это) лежал в глубине комнаты, задравши ноги на спинку кровати, сложив руки на животе и прикрыв

свои жеребьячи глаза с густыми, как иная борода, ресницами.

— Что, магнитофон громко? — спросил открывший.

Действительно, у них играл — нет, вопил, нет, надрылся — магнитофон. А я и не заметил.

— Заходи, — сказал он.

— Али, — сказал я и тронул его руку.

— Заходи, заходи.

И я зашел.

Они были из Эфиопии, мои соседи. Из той самой, как я теперь думаю, — до краев Земли простиравшейся на Запад и на Восток, от Нила, Великой Реки. Не знаю лишь точно, какая из двух Эфиопий была их родиной. Они были старшекурсники, соседи мои.

— А ты знаешь, что в Эфиопии — тоже христианство? — спросил Али и налил мне в стакан жидкость цвета, запаха и вкуса прелых листьев.

— Знаю, — сказал я, ошеломленно выпивая. — Эфиопско-коптская церковь.

— И что ты по этому поводу думаешь?

Я не думал абсолютно ничего. Впрочем, сказал, что диаспора христианства космополитична и всеобъемлюща — что-то в этом роде.

— Это так, — пытливо сказал мой собеседник. — Но что из этого следует?

Я потерялся. Красавец на кровати рыгнул, перевернул кассету и снова впал в забытье. Али вдруг врезал по столу ладонью и встал. Я невольно приподнялся тоже.

— Из этого следует, — громко сказал Али (голос у него был гнусный), — что нам не избежать друг друга. Взаимопроникновение народов — свершившийся факт!

И потыкал мне в грудь пальцем. Я уже стоял.

— Пойду, — сказал я.

— Погоди, — сказал Али и налил мне еще. — Знаешь ли ты, кто такие дети фестивалей?

Я не знал.

— Узнаешь.

Он оказался прав: теперь я знаю это. Над нашим милым стареньким общежитием, где всегда по-своему пахло на каждом этаже, уже третью неделю полощется транспарант: «Всемирное добровольное общество «Дети Фестивалей» имени Пушкина-Ганнибала А. С. Штаб-квартира». Над салатовым зданием вокзала — другой транспарант: «Дорогу всемирному братству разноцветных!» В общежитии нигде и ничем больше

не пахнет, кроме этого самого, кажется, мускуса, — *они* накалили. Что ж это делается, граждане, что ж это происходит?

Вчера, после ухода Вики, я включил радиоприемник. Разумеется, попал на информацию о встрече в муниципальном совете: отец города принимал Временного Председателя Всемирного Добровольного общества Али Халиа Бесау. Я выключил радиоприемник.

Ничто не предвещало, ничто! Я ручаюсь. Потомки простят нас. Виноваты, в конце концов, колониальные державы — в частности, Италия: она последней в XX веке воевала с Эфиопией. Россия здесь ни при чем.

Тогда я просто сидел в своей комнате дни и ночи напролет и читал. На мне и тогда были кремовые брюки, светлые кремовые брюки, тончайшей и чистейшей шерсти, на мне была светло-кремовая рубашка-батник, с кармашками и погончиками. Где-то я прочитал, что в светлом всегда работал Джойс, говорил: «Мне так светлее». Дебил, конечно, если разобраться; знал бы — ничего бы не делал. Палец о палец не ударил бы. Но он не знал. И я не знал. Я сидел и читал. Почему-то из философской серии первым мне попался Ламетри. Я прочел название «Человек-машина», испугался, быстро поставил книгу на место и раскрыл Пушкина.

Любви, надежды, тихой славы...
Любви, надежды, тихой славы...
Любви...
Надежды...

Что сие означает?

... И сходно купленный зрап
Возрос усерден, неподкупен,
Царю наперсник, а не раб.

А не раб. Вот так. У нас в общежитии проживало, надо наконец сказать, великое множество иностранцев дружественной ориентации. Монтескье полагал, что расы образуются под воздействием климатических условий проживания. Я утверждаю, что это не так: условия проживания важны, но отнюдь не климатические. Поясняю: когда свирепым и капризным осенним вечером, властно оттапавшим себе добрый кус жизненного пространства у сирого и убогого дня, сидишь в своей комнате у настольной лампы, и в глазах твоих множится круг пушистого света, и книга, пропащая в результате игры теней, норовит шелестнуть упрямыми страницами и закрыться — тогда чрезвычайно обостряется слух. Ясно различимы голоса в коридоре, смех на чужом языке,

хлопанье дверей, шарканье развалочных шагов, чей-то аккуратный визг. Потом скрипит дверь твоего блока, голоса звучат уже над ухом в прихожей — мерные изумленные капли надменного тенора и гусявая, прыгающая, как пар скороварки, слюнявая болтовня. Обсуждают. Опять в коридоре. Затем вновь появляется царственный тенор — он воркует уже по-русски, хотя все равно непонятно. Хлопает дверь соседней комнаты. Рычит магнитофон. Надо выйти и покурить. Условия проживания начались. Я не могу выносить этих вздохов, и визгов, и криков, и вдруг наступающей нехорошей тишины. Я выхожу покурить.

Чего их так тянуло к этим дружественно ориентированным? Медом они, что ли, мазаны? Нет, буквально! Один раз пошел попросить стержень для ручки у однокурсника, толкнулся не в ту дверь, она была, к несчастью, не заперта, и в полутьме я разглядел длинное шоколадное тело, опутанное сбившимся, смятым бельем, и две — я подчеркиваю, две! — девицы прямо-таки ползали по этому телу, как мухи, и лизали его далеко выставленными розовыми языками. Я быстро захлопнул дверь и ушел. Кажется, они не успели заметить, кто это; надеюсь, что после этого они заперлись.

Слушайте, он, этот жеребец, лишил Вику девственности! Я точно знаю: Али рассказывал мне, подливая противного вина из прелых листьев. Жеребец, как всегда, дремал. Он был философ, этот Али.

— Ты был на семейном этаже?

— Нет.

— Пойдем.

— Зачем?

— Пойдем — ты посмотришь. Тебе будет интересно.

Я выпил еще полстакана, и мы спустились тремя этажами ниже. Вечерело. Ветер трепал на балконе чье-то белье. Али быстро сказал что-то маленькой веснушчатой девушке, которая вела за руку совершенно черного карапуза лет двух с половиной, та заулыбалась, кивнула и, подхватив карапуза на руки, побежала на балкон.

— Видал?

В противоположном конце коридора возились ребятишки — пяток, думается. Все различных оттенков крема для обуви. Одна только девочка бледненькая, со строгим востроносым личиком и крысиной косичкой.

— Ты, Айсер, будешь папой, — говорила девочка быстроглазому мальчугану, скалившему белые зубы. Мальчуган был среднекоричневый. Девочка завертывала в цветастые

байковые тряпки розовую до дурноты куклу с обиженным лицом.

— Видал? Видал?

По коридору двигались пары; толпились в кухне. Шапки и папахи черных вьющихся волос, сильные длинные руки, мощно выпуклые шоколадные груди в распахнутых рубашках. Громкий голос с повисающими окончаниями фраз. Неумелый писк — рядом: девицы в разбитых тапочках, мятых халатах. Всех их видел я где-то, когда-то. В местах поглощения Гуманитарных Знаний. Там они выглядели пристойней, а здесь, в коридоре... Естественней, видимо.

— Дети фестивалей, — сказал Али, делая широкий гробущий жест. — Фестиваль — это праздник. Вся наша жизнь — это большой праздник смещения языков и народов. Мы все — дети фестивалей!

Я посмотрел на него сбоку. В коридоре семейного этажа было тускло. Оскаленный профиль моего собеседника в двух шагах пачкался тенями, терялся. Вдруг ясно становились видны желтоватые зубы, неровные, блестящие от слюны. Вдохновение озаряло лицо будущего Временного Председателя. Это было революционное вдохновение ближайшего восприимчивого непреклонных ниспровергателей императора Хайле Селассие I. Я сказал:

— Пошли отсюда. Я понял.

Мы поднимались по лестнице. Али говорил:

— Ты не видел еще многого. Я покажу тебе.

— Зачем?

— Ты философ, — уважительно сказал Али. — Я видел у тебя много книг. Ты сможешь нам помочь.

— Кому — нам?

Он улыбнулся — загадочно, насколько мог.

— Увидишь.

Он был философ, этот Али. И политик. Он был великий мыслитель. Трибун. Он доказал это теперь.

Но я все же против того, чтобы истязать женщин! Даже если они, как представляется, изменяют.

Я перелистывал Платона — у родителей были разрозненные тома. Я собирался прочесть диалог «Критий», трактующий, в частности, об исчезнувшей Атлантиде, над загалкой которой поломано столько голов. Каковы они были, данные атланты? Вероятно — как мой сосед-жеребец, имени коего я не умею произнести.

По коридору приблизились два голоса — они сплетались и боролись друг с другом, по-петушиному сплетались и сшибались, наносили друг другу пинки и тычки — то подскаки-

вая и пускаясь в пляс на высоких нотах, то падая до глухого ворчащего ропота. Они — голоса — ворвались в прихожую и заколотились друг в друга. Потом один — мужской — выпростался, размахнулся и:

— Заходи!

Очень грубо. Это он, жеребец.

— Заходи, ну!

— Пусти меня, пусти.. баран! Пусти, я закричу сейчас!

Фу, как он бранится! Втолкнул ее в комнату, орет что-то. Фу! Я выйду покурить.

Когда я вернулся, у соседей слышался непрерывный и беспорядочный крик. Мне представилось: двое ослепли и в судорогах ужаса ищут друг друга, ищут, шарят бельмами пальцев, в омерзении, в ненависти к этой негаданной, липкой, удушливой тьме. И кричат — от страха, от гадливости, от сознания беспросветной беспомощности. Крик становился все громче и громче; вдруг словно что-то рухнуло, послышался вопль, краткий, пронзительный, как бывает, если собаке переехать лапу велосипедом; затем что-то звонко шлепнуло, еще и еще, и из двух голосов остался один — женский, на единственной, невероятно высокой ноте — от такого внутри становится нехорошо, пусто; хочется, как правило, выпить. Крик регулировался, как радио: то нарастал, то падал до поскуливания, и тогда становились слышны ворчливые причитания второго голоса. Я постучал.

— Вот что... — сказал я и засмеялся, не зная имени; поглядел я сразу в пол и несколько выше: на длинные твердые голени. — Вот что... У тебя стержня для ручки нет?

Он загораживал весь проем — долгий, презрительный, с гибкими губами. Я глядел ему в шею, наливаясь запахом — кажется, мускуса, млея от ненависти к этому запаху. Одной рукой он оперся о косяк. Из другой у него свисал широкий ремень с металлизированными заклепками на отверстиях, с брэнчащей пряжкой. В его подмышку я видел, что на полу комнаты, скрючившись, не то лежит, не то сидит — валяется, скорее, — какая-то незнакомая мне девица. Светлые волосы ее были растрепаны, отовсюду из прически торчали жидкие, спутанные космы; одежда была растерзана и неясна; лицо красное, в желтых яблочно-каменных пятнах; губы закусены и, кажется, разбиты; рука трет опухшие глаза и нос, звучно хлюпающий.

— У меня нету, — безмятежно сказал жеребец. — Я потом у Али спрошу.

Я опять вышел покурить. Коридор не спасал от воплей. Через полчаса приблизительно, пройдя коридор во все кон-

цы и побывав на балконе, я направился к выходу на лестницу. Сильно хлопнула дверь, разрушенный женский силуэт, извергая рыдания, прошмыгнул мимо и, задевши, обжег меня.

Сколько драм! Сколько драм! Мне какое дело, в конце концов? Однако я сказал тогда Али при случае:

— Али, мне хотелось бы...

Тут я замялся. Он широко улыбнулся и положил руку мне на плечо.

— Все нормально, друг, — он съедал букву «о», получалось «н-рмально» или, скорее, «нырмально».

— Все нырмально, друг.

— Нет, — сказал я, проявляя упрямство. — Не все нормально.

— Она вела себя плохо, — сказал Али строго и непонимающе; разъяснительная интонация обнажила порог его мудрого терпения; то, что было у него вместо бровей, всползло вверх. — Она обманула. Правильно было ее наказать. Дружба не терпит обмана.

Какое мне дело, в конце-то концов?! Целый мир открывался передо мной все шире, заманчивей. Время, спрессованное в гладкие томики, ежевечерне, послушливое и ручное, покоилось на моем столе. Оно доверчиво распахивалось, это время, оно ласково шелестело страницами. Я гладил рукой переплеты, гладкие и пупырчатые, всегда теплые. За окном наступала зима, не страшно вьюжило, у меня перегорела лампочка, я купил другую. Стирая как-то ввечеру свою кремовую рубашку, я узнал, что Вика сделала аборт. Я не видел ее к тому времени в аудиториях с неделю, не встречал и в общаге. Али сообщил мне.

— Твоя подруга заболела.

— Какая подруга?

— Виктория.

Я блаженно разогнул поясницу. Рубашка томно истекала пеной в моих вытянутых руках.

— И что же с ней? — спросил я, любуясь медленными нездраватыми хлопьями.

— У нее была беременность.

Так не говорят по-русски.

— От кого же?

— От одного нашего друга. Он араб.

— Петра Великого?

— Что?

— Все в порядке, я надеюсь?

— Да. Конечно. Мы нашли ей хорошее место. Друзей не оставляют в беде. Хотя мы полагали, что лучше бы она

родила ребенка. Это было бы правильнее. Нужно приветствовать каждого ребенка — от африканца, от азиата ли — как вклад в дело дружбы. Великого взаимопроникновения. Оно неизбежно. Но мы никого не принуждаем. Русская женщина для нас — святыня. Она должна решиться сама. Если она еще не созрела для свободного выбора — мы не можем ее принуждать.

Он был убежден, этот мыслитель, он тыкал перед собой короткими, точными, растопыренными пальцами. Сильно пахло — кажется, мускусом. Запах пены — опасно приятный, хмельной — отступал.

Бедная Вика! Недели две спустя я видел ее на нашем этаже в обнимку сразу с двумя потенциальными отцами детей фестивалей. Оба были высоки, стройны и, видимо, арабы. Али, хмурясь, как доброе африканское божество — не хватало лишь оттянутых мочек ушей и палочки в носу, — следовал в нескольких шагах позади троицы. Он подмигнул мне и прищелкнул языком, а также пальцами.

Зима была в разгаре: полыхал синими искрами ровный снег, сухо потрескивали обледенелые ветки, лицо в минуту разгоралось на морозе и становилось багровым с чернотой, так что все ходили эфиопами. Я сидел в своих книгах, одного за другим прочитывая Аристотеля, Николая Кузанского, Шеллинга, Николая Федорова, Бертрана Рассела. Иногда почитывал Пушкина. Голова моя, мнилось, физически росла. Кремовая рубашка поистерлась в подмышках. Я пил холодный сладкий чай и расхаживал по комнате. Я ерошил волосы и с затаенным вожделением поглядывал на стопку чистых листов, зазывно покоившуюся в верхнем правом углу столешницы. Мой семинарский доклад о психоаналитических основаниях учения Федорова, о воскрешении мертвых был отослан на конкурс Самого Большого Города. Новый год я провел в шумной компании однокурсников и даже дал себе некоторую волю. Было весело и хмельно. С какой-то милой растрепанной барышней я под утро целовался в ванной; барышня стремилась так зацепиться за меня, чтобы задралась юбка, но я ловко оглаживал тело барышни, не давая туалету прийти в беспорядок. Вика была в компании тоже, но сразу после полуночи ушла; может быть, поэтому мы не пообщались. После Нового года была сессия; без усилия я получил «отлично» по всем дисциплинам и поехал в Тарусу потешить сердце родителей.

Кто-либо, возможно, думает, что я жил схимником оттого, что я импотент, могущий только подглядывать в замочную

скважину. Что, мол, на меня воздействовал бром, который в армии якобы подсыпают в котлы с целью отбить половую охоту, и вот эта охота отбита у меня на веки вечные? Что касается брома, то видел я эти котлы — ничего в них не подсыпают, только моют плохо, а то, что концентрат киселя с виду не похож на пищевой продукт, еще ничего не доказывает. Во-вторых же и во-первых, я не импотент и даже схимником не жил. Бы. Возвратившись в свою келью с новой порцией книг, однажды утром обнаружил я, что в мою спартански раскрытую форточку, клубясь, вползает новое зелье, какая-то сладкая отравка, заставляющая томительно ныть и звенеть затекшие жилы. Я понял, что это весна, и вечером привел к себе барышню, с которой целовался некогда на праздновании Нового года. Барышня сидела возле стола и с некоторым испугом смотрела то на готическую обложку «Так говорил Заратустра» Ницше, то на меня, который ходил по комнате и четко выговаривал что-то насчет видов любви у Платона и Аристотеля. На любви к отечеству барышня не выдержала и начала раздеваться. Я стоял посреди комнаты, вперив в нее осмысленный взор, и видел, что ей неловко: она была вся такая белобрысенькая, вся такая испуганная, вся такая мягкая, с черными звериными глазами и плешивеньким женским местом. Хотелось ее помять. У нас настала глубокая тишина. Среди нее раздались обычные звуки соседей, оглушаемые магнитофоном. Мы с барышней ежились под одеялом, которое отчего-то казалось кусачим. Она, развлекая меня, хохотала. Примерно через час в дверь постучали. Я закутался в покрывало и приотворил: улыбающаяся физиономия соседа-жеребца с высоты спросила, нет ли у меня теннисных шариков?

— Нет, — сказал я неприязненно. — И никогда не было. Я не играю в пинг-понг.

Он извинялся по меньшей мере с минуту. Я закрыл дверь. Барышня испуганно глядела своими глазками, надвинув вплоть до них одеяло. Я был задумчив, как император Рима времен упадка последнего.

Не водил я больше барышень. Не водил. Ну их. Читал себе, сидел. В частности, читал Диогена Лаэртца. Как сейчас помню — об Аристиппе, учителе наслаждения. Постучали и вошли. Раз, два, три, четыре, пять — пятеро. Оба моих соседа, еще двое похожих — парень и девушка, оба светло-соевые, с грушевидными лицами, розовыми ногтями и рубиновыми точками на лбах и еще один, зело черный, с вывороченными губами и коком спутанных, как проволока, волос.

— Здравствуйте, — нестройным хором сказали все, кроме Али, который, сделав рукой дирижерское движение, произнес:

— Здравствуй, друг.

— Хинди-руси бхай-бхай! — поднялся я со стула. — При-скаживайтесь.

И указал на кровать. Девушка почему-то зарделась и поправила волосы. Вполне наш, отечественный, халат облегал ее основательно лепленые разные там формы. Четверо, включая жеребца, сели на кровать. Али подошел ко мне.

— Брат, — сказал он, кладя руку мне на плечо. — Брат, нам необходимо поговорить с тобой об очень важном деле. Оно может оказаться самым важным во всей нашей жизни.

Я прислонился спиной к стенному шкафу, скрестил руки на груди и ожидал. Диоген тихой сапой шевелил страницами — норовил закрыться.

— Брат, — сказал Али всплеснул руками, — брат, наступает эра единения рас!

Я ожидал. Али обрушился в шепот. Пальцы его дрожали.

— Мы создали общество «Дети Фестивалей», — сказал он сколько мог низко. — Мы создали его. Те, кого ты видишь, — ядро нашего общества. Здесь будет штаб-квартира.

— Прямо здесь? — сказал я очень быстро; право, это вышло неволью.

— Здесь, — охват Али был широк. — В общежитии. В городе. На планете!

Глаза его желтовато светились. Пожалуй, при ином освещении он мог бы быть страшен. Откуда мне было знать?

— Поздравляю, — сказал я, стискивая лицевые мускулы и имитируя чих. — Общество — это отлично. Я думаю, вас поддержат.

— Я тоже так думаю, — сказал Али царственно. — Вряд ли можно не поддержать саму жизнь. Телевидение уже в курсе. Завтра девушки будут здесь.

— Какие девушки?

— Пятьдесят матерей из Рязани и области.

— Чьих матерей?

— Как чьих?

Он был удивлен. Я вдруг заметил, что он в хорошем костюме — твидовом, кажется; цвет — светлый беж. Он казался теперь еще приземистей, коренастей. В порах и рытвинах его лица блестели капли пота. Я шмыгнул себе в плечо — запах был невыносим.

— Как чьих? — прошипел Али. — Детей! Детей фестивалей! Вот! — он схватил за руку парня с губами и буквально

выдернул его из сидящих, как морковку, и поставил передо мной.

— Вот! Кто это? Знаешь?

— Не имею чести, — проямлил я.

— Это Виктор Халибович Саббак!

— Вот как? — сказал я вежливо.

— Ты не понял, ты все еще не понял? О, равнодушие! О, люди!

Кажется, Али был вне себя.

— Витя, расскажи ему! Кто твой отец? Кто твоя мать?

— Мой отец из Уганды, — сказал негр, произнося русские слова не хуже меня. — Моя мама отсюда.

— И где теперь твой отец? Отвечай! Отвечай!

— В Уганде, где еще...

— В Вологде... в Уганде... — пробормотал я, с трудом соизнавая банальность омофонии.

— А знает ли он, что у него двадцатичетырехлетний сын? — допытывался Али; он стоял, вперив широко расставленные ноги в пол, а глаза — в Виктора Халибовича; руки он упер в бедра и с виду был несокрушим. — Знает ли он, что его сын — макетчик авиазавода? Знает ли он, что его сын собирается жениться? Отвечай! Отвечай же!

— Не знает, — сказал Виктор Халибович и повесил голову; глаза его, упрятанные в кожные мешки, вспухли, длинные ресницы взрогнули несколько раз.

— А как ты записан в паспорте? — возопил Али и поднял руку, призывая ко вниманию. — Ну! Отвечай! Какие ты носишь имя, фамилию, отчество?

Негр уронил гигантскую слезу и шумно перевел дух.

— Ну!!

— Виктор Викторович Собакин.

— Вот!

Али торжествовал. Глаза его нехорошо горели.

— Вот! Посмотрите все на этого бедняжку!

Так не говорят по-русски. Так не говорят.

— С раннего детства, с самого раннего детства его дразнили! Негритосом! Его несчастная мать, которая хотя бы знает имя того, кто принял участие в создании мальчика — а ведь многие не знают и этого! — подвергалась поношениям, подвергалась погнущаниям, подвергалась косым взглядам и ухмылкам! Ее в глаза называли проституткой, шлюхой и блядью! Ее не хотели принимать на работу! И это здесь — в Самом Большом Городе! Завтра я покажу тебе девочек из провинции, которые приедут навестить отцов своих ребята-

шек и вступить в наше общество, — сердце твое, если оно не камень, обольется кровью!

Я глотнул и продолжал слушать.

— Завтра, — сказал Али, успокаиваясь и твердея; кулаком одной руки он пристукнул о ладонь другой. — Завтра все решится. Мы предлагаем тебе вступить в наше Общество. Мы предлагаем тебе высокий пост. Ты будешь Главным Советником Временного Председателя по России. Согласен?

— А кто будет Временным Председателем? — спросил я, созерцая шмыгающего Виктора Собакина.

— Я, — был ответ, — естественно, временно.

Все сидевшие и Виктор Собакин звучно вздохнули и вперили в меня не терпящие отлагательств взгляды.

— Я подумаю, — сказал я и поспешно сел на стул.

— Думать — это хорошо; но нечего, — заметил Али; слабея, я видел перед собой его проглядывавший сквозь растегнувшуюся рубашку морщинистый темный живот. — Думать иногда ни к чему. Ты можешь приступить к своим обязанностям немедленно.

Взглядом, затравленным взглядом спросил я о том, в чем состоят эти обязанности.

— Тебе поручается выяснить и описать в небольшой, но яркой работе, лучше в стихах, как, каким образом, при каких обстоятельствах вступил в брак Абрам Ганнибал, прадед великого русского поэта Пушкина. Тебе поручается осветить для народа всю родословную великого поэта, прабабка которого была первой русской женщиной, установившей живую и нерушимую связь России и Африки! Общество наше будет носить коллективное имя Пушкиных-Ганнибалов. Жена арапа Петра Первого Великого станет нашим почетным членом номер один!

— У него было две жены, — раздавленно прошамкал я. — Вообще, мне кажется все это выяснено и освещено. Следует обратиться к пушкинистике.

— Вот и обратись, — Али положил мне руки на плечи. — Завтра же! А сегодня тебе предстоит приятная обязанность душой и телом скрепить свое согласие.

Он подошел к кровати, взял за руки похожих друг на друга юношу и девушку и подвел ко мне. Я скорчился и глядел исподлобья.

— Это Ананда, — указал он на юношу. — А это Сита. Они, как ты правильно понял, из Индии. Азия не сбрасывается нами со счетов. Нет! Тем более, Индия — колыбель евразийской культуры. От Афанасия Никитина до Рериха русские люди стремились туда. Толстой переписывался с Ганди. Тебе

выпадет честь присоединиться к этому великому тяготению.

Смутный ужас стиснул мне сердце. На негнущихся ногах я поднялся со стула.

— Они брат и сестра, — сказал Али. — Он согласен. Так принято, что за отсутствием родителей согласие должен дать старший из присутствующих мужчин.

— Я должен жениться? — пролепетал я; Сита потупилась и забаврела.

— Жениться необязательно, — пояснил Али деловито. — В этом вопросе мы проявляем гибкость. Недавно, например, мы заставили жениться одного подонка — он должен был стать отцом, но игнорировал бедную эфиопскую девушку, которую с помощью своего приятеля, такого же бесчестного негодяя, почти изнасиловал, пользуясь действием туркменского портвейна «Сахра»! А девушка, между прочим, дочь короля, пусть они и отменены в нашей теперешней Эфиопии. Да, и в этом тоже наша задача — в том, чтобы каждый осознавал свою ответственность.

Али строго взглянул на меня и вдруг помягчел, улыбнулся.

— Но ты другое дело, брат! Если ты пожелаешь внести свою лепту в образование живого фонда «Дети Фестивалей» — пожалуйста. Если нет — тебя никто не станет неволить. Наслаждайся даром!

Али хлопнул в ладоши и крикнул что-то неясное, и все заулыбались и неожиданно вышли, оставив нас, меня и Ситу, вдвоем, и здесь вдруг погас свет, и потекли невесть откуда бередящие звуки ситара, и все поплыло, на глаза мне пала пелена — судя на ощупь, это был халат — и засим я ничего не помню. Отказываюсь помнить.

Мерзавцы. Бьюсь об заклад, что они все точно высчитали. И вот не пройдет и полугодя, как я внесу свою лепту в образование живого фонда Общества «Дети Фестивалей». Я, соринка, влекомая великим тяготением к Индии, к этой пахучей, упругой и гибкой, стенающей и мечущейся Индии, вкусной и пьяной, как веселящий орешек кола, в бездарно разжиженном виде и то покоровший весь мир, — я приму, как говорит Али, участие в создании своего младенца с грушевидной головой! Увы! Я уже не господин сам себе! Боже! боже! где все те надежды, которые я подавал?

Как много событий случается по ходу существования — они не замечаются, происходят походя и невзначай, между очередной сменой дня и ночи, а потом... а однажды.. А однажды всплывают в памяти, накрепко встраиваясь в цепь

дальнейших происшествий, намертво схватываясь раствором необходимости. Я помню, как меня, отрока, папа сколько-то лет назад взял в этот Самый Большой Город — было лето, а у папы была командировка или что-то в этом роде. В первый день я шатался вслед за озабоченным папой по удушливым, пахнущим раскаленной резиной улицам, торчал под козырьками подъездов, ютившихся внизу помпезных громадин с квадратными колоннами, гигантскими окнами и золотыми буквицами над фронтонами, ел вместе с папой в каком-то кафе, где истерзанные занавески с превеликим трудом отражали массивированные солнечные бомбежки (такая именно аналогия явилась моему перегретому и полному видению «про войну» мозгу), сидел на скамейках каких-то бульваров, был ослеплен и унижен чугунным ритмом полузадохшегося Большого Города, поправшего в моей душе самую неприязнь (сыновнюю!) к замогильному оцепенению родных мест. Наутро, после ночевки на продранном диване в обширной загаженной квартире, после жидкого чая из липких чашек, папа снова исчез по делам, но зато во второй половине дня, до вечернего отъезда на недалекую во всех смыслах родину, папа извлек из кармана два прямоугольника из мелованной бумаги и потряс ими в воздухе, и объявил, что у нас есть билеты на вход в фестивальский парк. Я не знал, что замеченное мной накануне обилие представителей разных рас на улицах не есть обычное явление даже для Большого Города. Теперь я знал, что это из-за Фестиваля. Слово манило. В Тарусе вряд ли могло звучать подобное слово. Гораздо позже мне сообщили, что все мы находимся в состоянии перманентного фестиваля, что наша жизнь — это а moveable feast. Возможно, мне сообщили об этом слишком поздно.

Тогда мы долго шли с папой от круглого, как цирк, здания станции метро, вдоль длинного, все время загибавшегося забора, потом по широкой улице мимо огромного, под стать названию, магазина «Богатырь», и перед нами открылся убегающий ввысь амфитеатр ступеней, увенчанный стремящимся в небо островерхим строением со звездой на нестигаемом шпиле. А рядом, по правую руку, белая, сваренная из легких металлических труб ограда опоясывала скопище зелени, в тенистых пещерах которой терялись ажурные киоски. Мы вошли в проем ограды, предъявив молодому человеку с голубкой Пикассо на кармане рубашки свои билеты, и пошли бродить по дорожкам, где, хохоча, группами и парами, разгуливали белозубые шоколадные и соевые люди — впервые тогда я увидел такое их количество в одном месте. Помню растопыренную чашу открытого театра, где мы долго броди-

ли в рядах скамеек, не решаясь выбрать место, как оно всегда бывает, когда места много. На эстраду выходили певицы в черных кружевах, и скоморохи в расписных рубахах, и люди в трико, ловко кривлявшие смешных лохматых кукол почти одного с людьми роста, и так как мы сидели достаточно далеко, то нам не было видно комьев грима на вялых и потных лицах артистов. И когда стало вечереть — то есть солнце зазыбилось и, дрожа, растворилось в белесой пленке, затянувшей небо; а было, между тем, еще вполне светло — и когда нам уже скоро предстояло уйти, я впервые и не беря в голову получил возможность наблюдать за началом процесса, окончание которого влечет за собой дальнейшее образование живой массы. Но ничего, натурально, не понял. Так, какие-то двое скуластых, с бликами на черных деревянных физиономиях, деревянно же улыбающихся — двое таких вот что-то изображали перед девушкой, рыженькой и разбитной, с голубыми глазами и в сарафанчике, открывавшем плечики и часть груди и кожные складки у подмышек, все это в мелких, частых веснушках. Девушка хохотала, прикрывая бледный ротик рукой с видимыми голубыми прожилками, когда один черный и скуластый вскочил на скамью и поставил ногу на спинку и руками с фигурой изобразил рабочего и колхозницу одновременно, а потом дискобола, а потом дорифора, сиречь копыеносца, и еще что-то из области статуй — возможно, национальных, так как обеими ногами взобрался на спинку и присел, и ладонь приставил ко лбу, а лицо сделал ужасное — глаза выпучены, рот оскален — и захлопал себя по обтянутому джинсами задку сильной и гулкой ладонью. А другой черный и скуластый — шелк-пошелк маленьким фото и хохочет, хохочет; хохочет и девушка.

Я ее видел. Потом. Еще раз. Наутро, в «решающий день».

Я проснулся поздно. Моей внезапной суженой не было; только длинный лоскут, ярко-голубой, висел на спинке стула. Я взял его и понюхал. Пахло этим... кажется мускусом. Я сел к столу и раскрыл том Пушкина на «Начале автобиографии». И закрыл. И встал.

Через пару часов за мной зашли. Я лежал на кровати и курил одну за другой, чего не имел обыкновения делать, особенно в комнате. Они приехали, сказали мне. Пятьдесят матерей из Рязани.

Помню, что весь коридор на этаже, где помещалась комната студкома и Совета общежития — большая, почти целый зал, — был запружен разноцветным народом. Меня длинные руки жеребца почти пронесли сквозь толпу, протискали в плотно дышащее помещение. В глубине, у окна, на несколь-

ких сдвинутых концелярских столах, стоял еще один стол. На столе высился Али. Тесным полукольцом стол окружали разные девушки с утомленными, плоскими, бесформенными среднерусскими лицами. Рыжая девушка стояла прямо под пахом Али, на руках у нее был непосильный для нее толстый надутый мальчик. Лет шести, вероятно, и черный, естественно. Другие девушки также прижимали к себе разномастных младенцев, частично орущих. Некоторые — в смысле, девушки — плакали, утирая носы и глаза о младенцев. Ни Ситы, ни Ананды, надо сказать, видно не было, да и жеребец, поспособствовав моему продвижению, исчез. В коридоре галдели, глухо, грозно и непонятно. Али поднял руку и разом все смолкло, включая младенцев. Одна патлатая кучерявая девочка некрасиво скривила, было, свое глинистое по фактуре и цвету лицо и завопила, протяжно и без причины, но белобрысая дородная мать укусила (как показалось мне) дитё за шею, и девочка смолкла. Али обвел взглядом аудиторию. Чудовищный Пушкин Кипренского терялся в солнечных бликах по-над Али, слева, в простенке.

— Друзья! — объявил Али. — Сегодня у нас важный день. Может быть, самый важный во всей нашей жизни. Сегодня мы закладываем основательный камень в подножие неодолимой транснациональной и трансрасовой дружбы и единения! Этот человек, — Али указал в сторону хоронившегося за бликами Пушкина, — этот человек, в жилах которого текла африканская кровь, и в жилах которого текла русская юшка (здесь, признаюсь, меня передернуло, а ведь Али хотел сказать как лучше), — этот человек, который кроме того, что он стал величайшим национальным поэтом России, стал еще и первым поэтом Африки, получившим всемирное признание, — он будет нашим гением-хранителем, нашим, так сказать, ларом и пенатом!

Бешеные аплодисменты отцов и всхлипывания матерей были реакцией на этот чудовищный макаронизм. Али продолжал:

— Зададимся вопросом: как велико африканское и азиатское проикновение в Россию? Ответим: очень и очень велико. Тысячи и тысячи студентов, аспирантов, стажеров проживают только здесь, в Самом Большом Городе. А сколько их в других городах? Десять тысяч? Двадцать? Пятьдесят? Это же целый передовой отряд, друзья, это же настоящий форпост — так сказать, богатырская застава афро-азиатской культуры! И что же мы видим? Мы видим, что этот форпост, эта колония первопроходцев зачастую не имеет нормальных условий для своего первопроходчества. Я спрошу вас: какое

у человека есть первое и самое неотъемлемое право? Я отвечаю вам: это право на любовь и на дружбу!

Здесь мое рыжее отроческое видение не то всхлипнуло, не то прыснуло — во всяком случае, это было громко — и обратило на себя внимание. Али строго взглянул на девушку.

— На любовь и на дружбу, — повторил он. — А есть ли у них, то есть у нас, гарантии на осуществление этого святого права? Нет, друзья, их нет. Условия для общения у нас самые непригодные, самые, я бы сказал, плачевные.

— На кроватях сетка провисает! — крикнул кто-то голосом высоким и обиженным.

— Доску подкладывай, — густо посоветовал другой и все зааплодировали.

— Друзья! Частности потом! — сердито воскликнул Али, выставляя вперед ладони; гомон стих. — Условия, повторяю, неблагоприятные. Можно было бы долго перечислять, в чем конкретно заключается эта неблагоприятность. Можно было бы. Но мы не станем. Это и так всем хорошо известно. Взглянем прямо, так сказать, в корень проблемы. Где выход?

Возникла пауза. Напряженное внимание обратилось на оратора.

— Где выход? — повторил он громче. — Где, спрошу я вас, друзья мои?

Девушки завздыхали.

— Пусть шлюхами не обзывают! — звонко крикнула моя рыжая знакомая и осеклась. Али перевел на нее тяжелый взгляд. Губы его вздернулись, заголяя желтые зубы.

— Выход, — отчеканил он, — в объединении. Только оно способно решить наши проблемы!

Овации покрыли окончание речи.

— А вам, — перекрикивал Али одобрение, дрожа голосом, — вам я еще предоставлю слово! Вы все скажете, все! Нас услышат!

Будто в подтверждение этих слов толпа вдруг разрыдалась, пропуская сутулую девицу с морщинистой шеей, повязанной зеленой косынкой, и в огромных светочувствительных очках. Флегматичный молодой человек с красными щеками шел следом, неся на плече телекамеру. Еще один юноша, долговязый, с быстрыми блудливыми глазами семенил за оператором; в вытянутой левой руке он нес фонарь-подсветку, как бы стремясь ввысь и влево, но моток кабеля в правой руке тянул его вправо и долу.

— Вот! — закричал Али. — Это пресса! О нас узнают! Нас услышат!

— Районная кабельная телестудия «Огни Мегополиса», — отрекомендовалась девица. — Мы опоздали, кажется? Давно вы начали?

Али, стоя на своей трибуне, делал движения руками, погами и лицом, стремясь быть в отношении телевидения галантным; он даже что-то говорил. Что — не слышать было и мне: услышанные стремились быть услышаны во все более превосходящих степенях, стоял невообразимый гвалт. Телевидение, не вникая Али, зажигало огни. На трибуну одна за другой полезли рязанские матери; сильные темные руки подсаживали и поддерживали их. Матери пробовали потрясать детьми; те орали и вихлялись, патлатую девочку дебая мама чуть-чуть не уронила. Тогда детишек перестали отрывать от земли, и речи полились. Спертый пар правды со страшной силой вырвался из закупоренных доселе женских душ и оглушил собрание, и придушил. Я сосредоточился на истории своего рыжего воспоминания. Бедствия и унижения загромаждали девические впечатления этого воздушного существа. Грубость и пьянство, наглые домогательства и циничные шуточки, безобразные драки и грязные драмы — вот что видела и слышала она, приехав из своей деревни в Самый Большой Город. Вот что видели ее глаза и слышали ее уши! Тот, кто стал отцом ее мальчугана, был не таков, хотя она точно не знает, кто именно из двоих стал, собственно, отцом, ибо всё происходило одновременно.

— Это лишние подробности, — торопливо сказал Али, морщась и поглядывая в телекамеру; девица в очках замахала на него рукой; кожа ее шеи покраснела от любопытства.

А когда... когда... когда неминуемое расставание произошло — а произошло оно немедленно по окончании Фестиваля (он промелькнул, как видение, как сказка; девушка заплакала; прозрачная кожа ее, похожая на пленку яичного белка, налилась кровью плача, и веснушки выступили темными точками) — тогда она, поняв, что беременна, забрала документы из техникума и уехала, уехала в родное село, потому что воспоминания о быстролетном счастье обжигали ей душу. Через полгода она разрешилась вот этим вот мальчиком — и началось! Все отвернулись от нее. Парень, который был в нее когда-то влюблен, распускал о ней в пьяном виде самые гнусные слухи, а его мать, тетя Наташа, не называла ее иначе, нежели «негрская подстилка» и в глаза спрашивала, загораживая проход на улице и пуская голос, каковы ей на вкус показались бананы и толстая ли у них кожа. Ад, настоящий ад обступил ее со всех сторон! Девушки фыркали, завидя ее. Парни стремились унижить: ущипнуть, скажем, за

попу, — и постоянно склоняли к развратным действиям, делая это как бы небрежно-презрительно, но по огню в глазах и придыханию было видно, что на самом деле их заело. Мать ходила как в воду опущенная. Отец запил и во время колки дров отрубил себе палец. Сгорел сарай — не исключено, что подожгли. Умерла коза — не исключено, что отравили. Едва не упал в колодец сынишка — не исключено, что подстроили. Врач, приходя по вызову на детские недуги, глядел иронически на дитя и плотоядно — на мамашу. Жизнь становилась невыносимой. Она уехала в Рязань. Ей удалось неплохо устроиться — есть работа, добрая старушка задешево сдает комнату. У многих ведь положение куда как хуже. Но гложет, но гложет обида! За что!

— Вот именно, — заметил Али, журналистка махнула на него снова; рыжая девушка всхлипывала, но, в целом, глядела победно и даже уперла руку в сильно очерченное бедро. Взгляды и взгляды, жадные, вопрошающие были устремлены на рязанских мадонн.

— Спасибо, Али! — звонко крикнула рыжая. — Спасибо вам всем, девчонки, за то, что нашлись! Спасибо вам, губители наши, за то, что вы есть!

Кажется, тут прозвучало «ура!» Началось нечто вроде братания. Все смешалось. Девушки, не особо заботясь о внимании, выкрикивали свои горькие судьбы. Оператор с осветителем метались меж них, девица в очках тыкала то одной, то другой под нос микрофон. Меня оттерли в угол, под Пушкина. Я сжался и решил, что незачет, но общая участь не миновала меня: дородная мама кучерявой девчушки, будучи выстрелена толпой в мою сторону, неожиданно обвила мою шею руками, прижалась ко мне своим плотным, распорченным телом и несколько раз ткнулась в лицо мне мокрым носом и теплыми, как у лошади, губами.

— Ну, будет, будет, — пробормотал я растроганно; девушка, однако, льнула уже не шуточным образом.

— Помогите! — собрался крикнуть я и не успел. Гомон и гвалт просверлил неожиданный крик — крик подбитого вепря или бомбардировщика, или просто Али в предчувствии славы.

— Друзья! — отдавалось в углах комнаты, сразу ставшей такой, какой она бывала обычно — запустелой и свежеекрашенной. — Братья! Внимание! Я прошу тишины! Ти-ши-ны!

Гомон и гвалт не могли сразу утихнуть.

— Замолчать!

Ну просто взвизгнул Али. И замолчали все! Дева, потом пахнущая, клейкая, вмиг отлипла от меня, полузадавленного под Пушкиным.

— Братья, — сказал Али, приметно волнуясь. — А сейчас я все же прошу тишины. Сейчас мы предоставим слово человеку, которому предстоит многое сделать для нашего общества и для всеединства рас и народностей в целом. На его плечи возложена миссия выяснения всех обстоятельств, при каких зарождались и крепили связи России, с одной стороны, и Африки и Азии — с другой стороны. Это высокая миссия. Научная миссия! Все из вас или многие среди вас знают этого человека как нашу надежду в науке. Вся деятельность его, такого молодого, но уже обещающего много, посвящена любви. Вспомним хотя бы его удостоенный премии труд о воскрешении усопших через любовь. Поприветствуем же нашего...

До последнего момента я отказывался верить, что речь идет обо мне. Но мое имя, мое бедное имя, запятнанное похвалой за некрофилию, которой, видит Творец, я никогда не проповедовал, — это имя прозвучало. И немедленно чьи-то руки, мужские и особенно женские, помогли мне вскарабкаться на подножие трибуны и оказаться рядом с оратором, на полпути между ним и толпой.

— Вот он, наша надежда! — воскликнул Али, протягивая руку в мою сторону. Заплодировали. Я увидел бурый глаз телекамеры и свое с Али отражение в нем.

— Несколько слов, брат, всего лишь несколько слов! — закричал Али. — Я знаю: ты не готовился. Может быть, ты даже смущен. Но соберись и скажи пару слов. Скажи так, чтобы тебя услышали.

Он погубил меня, этот мыслитель.

— Граждане, — начал я, кашляя, — я действительно немного взволнован. Честно говоря, я не мог ожидать, что собрание будет проходить так... темпераментно.

Здесь Али ухмыльнулся не без самодовольства. Лицо его стало сплошными щеками. Он уселся, свесив ноги на своем подиуме. Я по-прежнему был на полпути.

— Что я могу сказать? — спросил я сам себя и ответил: — Ничего.

Я был прав, но меня, очевидно, не поняли: воцарилась тишина, осветитель потушил лампу. Это было кстати, так как пекла она нещадно.

— Ничего, — повторил я, отирая лицо. — Ничего, кроме: в добрый час.

Лампа вновь вспыхнула. Раздалось даже несколько хлопков.

— Дорогие граждане, — через силу продолжил я. — Что еще я могу сказать?

Затихло, и затихло нехорошо.

— Разумеется, все те комплименты, которые были высказаны в мой адрес, мягко говоря... мм... преждевременны, — поспешил я. — Я воспринимаю их как... э-э... своего рода аванс, как ожидание... эмм... ожидание некоторых... определенных... поступков... так сказать, действий с моей стороны... Однако... от природы я не обладаю склонностью обещать что бы то ни было, и, даже точно зная, что нечто в моих силах, я предпочитаю тем не менее воздерживаться от прямых обещаний... воздерживаться, да! Я полагаю более правильным и уместным сначала сделать что-то, а уж потом... уж потом...

Тут я запутался. В самом деле — если что-то уже сделано, зачем же обещать, что ты это сделаешь?

Одобрительно-ободрительное негодование по поводу моей скромности вывело меня из затруднительного положения.

— Итак, что я могу добавить ко всему уже сказанному сегодня? — не на шутку задумался я. — Очевидно, от меня ожидают некоего научного... так сказать, исторического подкрепления тех положений, которые с таким... мм... темпераментом, — опять вырвалось у меня это проклятое слово! — выдвигал и отстаивал здесь Али... то есть Временный Председатель. Очевидно...

— Скажи про Пушкина, брат, — задушевно произнес Али. Про Пушкина!

— Про Пушкина... да... разумеется, про Пушкина. О ком же еще и говорить? — я боролся со своими лицевыми мускулами, но с переменным, надо отметить успехом; камера бледа, лампа пекла. — Что мы можем сказать о Пушкине? Вероятно, лучше всего это сделает сам поэт, — предположил я, делая рукой движение в сторону портрета. Все посмотрели вслед моему жесту. Пушкин молчал. Я стал своими словами, словами путанными и не до конца внятными, пересказывать «Начало автобиографии». Неожиданно для себя я увлекся. Я рассказывал, что первая жена знаменитого Ганнибала родом была гречанка, а вторая — немка; что с гречанкою Арап Петра Великого развелся за то, что родила ему белую дочь, и принудил супругу постричься в монахини, а дочь, хотя и дал ей воспитание и приданое, не пускал к себе на глаза. Что черные дети второй жены пошли, по всей очевидности, в отца, если не далее: именно, Осип Абрамович отличался исключительным буйством характера, был двое-

женцем и умер, как пишет сам Александр Сергеевич, «от следствий невоздержанной жизни». Забывшись, я перешел, было, к еще более безрадостной картине семейственной жизни ближайших предков поэта со стороны Пушкиных — успел, в частности, упомянуть, что прадед Александр Петрович умер, зарезав в припадке сумасшествия рожавшую жену, и собрался повествовать о причудах деда, свирепого феодала и тиранического ревнивца, — но смутный гул, похожий на стелющееся гудение земли, слышавшей дальний поезд, заставил меня примолкнуть. Я обвел взглядом аудиторию. Общий выдох исходил из напряженных горл. Десятки остолбенелых взоров бессмысленно упирались в меня. В них чудилась неприязнь. Я почувствовал, что щеки у меня горят, а лоб покрылся испариной: мне только теперь пришло в голову, что никто из присутствующих не читал излагаемого мною текста. Девушка с телевидения сняла очки и длинными пальцами раздраженно и нещадно копалась в своих глазах, оказавшихся маленькими, злыми и опухшими; кожа, скрытая доселе очками, была, как выяснилось, обветренной и золотушной. Али вперился в свои туфли; как ни странно, он то бледнел, то вспыхивал и в целом был какой-то апельсиновый.

— Остановите, — отдельно и жестко сказала журналистка оператору.

Решающий миг повис в воздухе и зазвенел тетивой вечности.

— Пушкин, — сказал я четко, — гордился своей родословной.

— А-ах! — сказала собрание.

— Пушкин не мог ошибаться, — с ненавистью сказал я и положил руку на плечо съездившегося Али. — Пушкин знал чем гордиться. Его предки были достойные люди!

Я погубил всё. Я погубил себя. Я расплачиваюсь теперь. Я наказан и безропотно влачу свой крест. Пусть хоть это зачтется мне на Страшном Суде. Пусть зачтется мне хотя бы мое сочинение о воскресении усопших, если уж сочинение Сервантеса зачтется всем, но не мне, павшему рыцарю познания. Пусть! пусть!

— Повторите, пожалуйста, — властно крикнула теледевушка, напяливая очки. — Поехали! Повторите!

Я повторил:

— Предки Пушкина были достойные люди.

И добавил:

— Пушкин — наша эмблема, наш девиз и наша речевка! Только его имя вправе стоять в названии... Общества.

И опять добавил:

— Нашего Общества.

Это был взрыв. Это был настоящий взрыв. Меня несли на руках. Телевидение следовало за мной, забирая в крупные планы все видимые части моего тела по очереди. Я ждал, что меня сбросят в пролет лестницы, если уж у меня, слюнтяя, неостанет на это сил самому, как достало у Гаршина. Меня не сбросили. Меня вынесли на улицу и качали. Позорная слава несмываемой пылью покрыла меня.

Теперь я тот щит, на котором возвращаются домой побежденные; нет, хуже: я тот щит, который теряют на поле брани бегущие и опозоренные. Вика пошла по рукам: вчера она спросила меня:

— Что с нами будет?

Она не знает, что я должен вступить в славное племя отцов «детей фестивалей», она не понимает, что я Главный Советник Временного Председателя по России, что у меня в кармане — кусочек плотного картона лимонного цвета с фотографией и должностью, записанной славяноподобною вязью, арабскою вязью и еще какими-то, неизвестными мне вязями. Что ночами я, корчась и матерясь, втискиваю в прыгучий четырехстопный ямб скудные сведения о родословной Пушкина-Ганнибала — не знает она, бедная Вика. Она не видела хранящейся у меня в шкафу новенькой черно-белой майки с профилем первого всемирно известного поэта Африки; она не присутствовала при заключении торжественного договора между Временным Председателем Общества «Дети Фестивалей» и постоянного председателя кооператива по производству маек и трусов, небритым и развратным потомком огнепоклонников с черными усами и двумя золотыми печатками. О, бедная, бедная, доверчивая Вика! Она видит только, что всё, всё изменилось за последние два или три месяца. Она слышит радио, она смотрит телевидение. Она не знает, что на завтра запланирован прямой телеэфир очередной встречи Временного Председателя и мэра Самого Большого. Она видит, что нету воды, что по городу ходят толпы темнокожих весельчаков, обнявшись с толпами белобрыхых молодых, и все эти толпы — оголтелые. Окрестности нашего общежития официально объявлены мэром, этим безумствующим во имя демократии, Зоной Единения Рас и Народностей, и правом свободного передвижения вплоть «до выяснения обстоятельств» пользуются только вступившие в Общество. Значит ли твое имя «победа», о Вика? Значит ли что-либо хоть что-либо?

Я сижу у стола. Слева распахнуто окно. Руки липнут к столешнице. За окном пухнет прогорклое лето. За окном беснуются *они*. Там, за низкой оградой, сваренной из легких металлических труб, устроен а moveable feast. На открытой эстраде, в тенистом зеве похожей на раковину чаши уличного театра, день и ночь не смолкают концерты и митинги. Я слышу голос Али — он барахтается в ревуших динамиках, гнусавый и непримиримый. Я открываю Пушкина, читаю окончание повести «Метель» и плачу. Завтра, я думаю, будет революция. Я совершу её.

Юрий РОМАНОВ

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ В СВЕТЕ РЕЛИГИОЗНОГО ВДОХНОВЕНИЯ И БЕЗРЕЛИГИОЗНОЙ СКУКИ

Появляющиеся в последнее время книги любопытны как тем, что представляют собой вехи определенных периодов отечественной истории, так и тем, что это вехи подпольного сознания 70-х годов.

Пролистывая нарядно изданным то, что проглатывалось в две ночи на бледной машинописи, опрокидываешься в две эпохи, невзирая на господствующий ныне единачальный постмодернизм. Мы ведь всегда имели опыт однозначной, из самой себя реальности. И видели, как таковая влияет на человека: любая инородность описывалась как несуществующее, как дикая фантазия.

Но вот возвращаются книги, и появляется у истории объем.

Благодаря Кормеру или Синявскому воссоздается непрерывность русской литературы — и, значит, истории. Она — в связности русской мысли, которая во все времена имеет глашатаев «русского чучхэ», своего особенного пути. Даже в те времена, когда нельзя было подумать, что история существует сама в себе, что она органична, настолько всегда зависит она от окружающих ее соседей или прихотей самодержцев.

Иногда кажется, что русская идея если и существует, то не на земле и не в истории.

Известно, что когда в начале пути человек описывает свое детство и отрочество — он описывает феномен возникновения сознания, всегда зиждущегося на опыте и традиции. Дальше он развивает способности погружения в подсознание, что и называется, обыкновенно, творчеством. И это есть характеристика овладения настоящим. Когда же ему хочется представить будущее, он погружается в «бессознание».

Что у трезвого на уме, то у спящего во сне. Что же снится литературным пророкам? Утопии и антиутопии: «Мы», «Чевенгур», «Любимов», «Остров Крым», «Палисандрия», «2042». Как известно, пейзаж или улица во сне метафорически обозначают связанного с ними человека. Так в теме

маленького города, возмечтавшего стать центром мира, мы угадываем центральную тему русской литературы — маленького человека, грезящего о величии. Вот так обратился комплекс провинциальности: в самих себя и друг друга пожирающих геополитических монстров.

Здесь обнаружится непоэтичность бессознательного: как лирики Замятин и Войнович не сильные, зато в представлении механистичного рая роскошествуют.

Подобная несоразмерность напрямую связана с переменной религии: мы выплеснуты вовне, нам драгоценно все внешнее. Это всегда напрямую связано с манерой описания: подробнейшей топонимикой Кормера или Александра Кабакова — истовая верность любой всамделишной детали улавливает автора в сети рукотворного Космоса. Он не может укоротить ни слова из речей героев — он ведь точно помнит, кто, где и что сказал — правда, понемногу в течение долгих лет, а не за двадцать минут кухонного монолога. Все со всеми пересечены во всех плоскостях, и, для удобства автора, дворник может что-нибудь ляпнуть существенное для развития романа.

Плетение словес заслоняет двумерным текстом трехмерность мира. Исчезает тяга к образу, закольцованному фразой, к афоризму. Даже византийско-греческое плетение словес не более, чем арабески, в них странным образом пропадают фигуры и остаются отношения оживших вещей. Хочется уже запретить изображение словом всякого рода самодвижущихся вещей. Чтобы не оживлять бесов.

То же ведь получилось и в орнаментальных плетеньях «Между собакой и волком» Саши Соколова. Все время хочется сказать — между волком и собакой — более по-русски, но автор слямзил у Пушкина, хотя тот привел эту французскую идиому на языке оригинала.

В лучшем случае такой творческий атеист чувствует собственную плененность, но старательно отчуждает ее от себя: «Закон всегда проще природы. Когда он пытается подчинить себе подсознание, то оказывается не в силах низвести сложность жизни до своего уровня». Это пишет атеистический (в обычном понимании) экзистенциалист Альбер Камю. Писатель, выводивший невольно безрелигиозного советского читателя к тертуллиановскому кредо, в абсурд и торжество парадокса, смыкающийся в обсуждении «посторонности» и отчуждения с религиозными экзистенциалистами, но оставшийся по эту сторону горизонта.

Хотелось бы ввести закон о неприменимости философских и мировоззренческих систем в жизни. То есть, об их

непереводимости в деяния. Оберегая суверенность веры от техноса, от употребления.

Чуть позже прочтения Камю возник на русской почве аналогичный по мироощущению журнал «Параграф». Своё социальное аутсайдерство его авторы распространили и на область мышления. Получив на лето целую типографию, они сникли: «Да нам ведь много не надо...» Проповедуя сугубо частный взгляд на происходящее, они подменили его общинным, своего кружка мировоззрением, и дальше они выступают уже как коллективное сознание всего поколения 70-х. Немудрено, что у них возникает идеологическая догма — «мы должны быть другими». Кружковщина — это психоаналитическая заикленность друг на друге, а вовсе не «Беседа Учителя с Вопрошающим» Хайдеггера. Они столь же упорны в самоограничении, как младоконцептуалисты в своей приверженности советской мифологии. Каждому свое, но так безрелигиозное самоограничение приводит к «закукливанию».

«Он умер, говоря, что секрет бессмертия им найден», — как написано в книге «Замечательные чудачки и оригиналы».

Приверженность принципам, долгое воздержание от иного чреватые прорывом запрятанного. Ибо форма, вовлекающая низкое в высокие сферы, — это форма открытая.

Как был открытым журнал «Третья модернизация» — как еще не вполне родившийся организм, некоторые тексты внутри которого, как плацента, как внутренние органы, всегда скрытые, но не менее оттого необходимые для жизни. Хребет его прощупывался лишь по прочтении — по позвонкам скрытой темы, общей интонации казалось бы абсолютно разорванных публикаций. Журнал-провокация — более верно к нему, чем к «Мулете»; здесь ведь анонсировались публикации, не могущие в принципе быть осуществленными. Дело, конечно, в редакторе — надо знать Сержанта.

Дело в том, что предел скептицизма и неверия — человек экстатический, и в парадоксах прохожего из Евангелия от Фомы или бюргера у Киркегора оканчивается сухая логистика разума Сартра.

Современная литература, конечно, отличается от классической редукцией рационалистической орнаменталистики, ликвидацией посредующих слов, размытых психологизмов. Но невозможно отжать и высушить фразу Достоевского или Набокова. И то, что пережеванная пища — уже не еда для другого, становится очевидным тогда, когда читаешь стилистические кентавры смутных эпох вроде Ф. Светова или Арцыбашева.

Новые идеи, воплощенные старыми средствами, сродни поразительному отсутствию слуха концептуалистов всех времен и народов. Такие вещи, как последняя глава «Улисса» Джойса, надобно воспроизводить японским синхронизатором речи (кто помнит голос Венички Ерофеева в конце его жизни) — и заставить авторов слушать. Вообще, переживания Джойса — ноуменальные, не связанные, не воплощенные в сиюминутных отношениях и людях. Джойс вполне развязан. Но поэтому он и преодолевает время, в отличие от многих.

Так «Санин» начинается как гончаровский «Обрыв», и тут же идут перепевы из толстовского «Ивана Ильича» с его (Арцыбашева) скучнейшими рассуждениями о смерти — без божества, без вдохновенья, с чеховским унынием. Для того чтобы подумать, герои его, как по большой нужде, выходят во двор. Его сады — заросшие ряской аквариумы. Его ночи пусты и мгновенны, ибо все ночные размышленья укладываются в одну фразу. Его вроде бы обильные описания природы сколлажированы из неизвестных никому произведений петербургских сочинителей, знавших наверняка из натуры только, что среди звезд есть Большая Медведица.

Но ничто не пропадает бесследно, и подобная клишированность нашла благодарного исследователя в лице современного нам В. Сорокина: когда в тексте «Санина» натывается на восклицание — «С полем!» — мгновенно припоминается сорокинское «Открытие сезона». Рыбак понимает рыбака, ибо соцарт, метод Сорокина, такая же замкнутая система, что и соцреализм, превративший все мировые стили в орудие построения человека совершенного. Ибо из такого построения для удобства исключен элемент иррациональный — а именно, религиозный.

Как известно, энергетика заключена в сущностях — в «что», а не в «как». Поэтому все сов-писатели изначально дилеры, а вовсе не созерцатели. Личное откровение им чуждо, поскольку дано общегосударственное. Кстати, это же — беда писателей, пытающихся быть религиозными.

Таковой скепсис и агностицизм вполне гармонирует с «чужельностью» их мира. Там, где прежде были небеса, — теперь тексты, и оттого происходят отсылки к ним, а не истинам, в них просвечивающим.

Так возникают посмертные воплощения символов в «Кроте истории» Кормера, родственные гностической интерпретации евангельских персонажей Булгаковым (не Сергием, разумеется).

Им не дано преображенья, их удел — слоняться сырыми тенями в Лидосе.

Гностики в поисках всеобъяснения часто изобретают такие божества, которые вечность трансформируют в дурную бесконечность.

«Неустойчивое равновесие». «Устойчивое неравновесие»...

Как близок был к этому скучновато-прозаический Бродский 70-х. Это потом он перерос горизонты агностицизма. Ведь в истории так получилось, что поэзия предшествовала прозе — так было у шумеров, аккадцев, китайцев, индоариев, египтян, греков. У нас же часто бывало от обратного, ведь «скорость внутреннего прогресса больше, чем скорость мира». И вот поэтом угадан прогресс внешней духовности: «верх возьмут телепаты, буддисты, спириты, фрейдисты, неврологи, психопаты; кайф, состояние эйфории диктовать нам будут свои законы». Что натурально и произошло: Коктебельский пляж нынче приготовительный класс Апокалипсиса — все листают гороскопы, Библию, Книгу Мертвых, Сведенборга и Глобу.

Что делать — любим мы повторяться — так же было в начале века...

Но вот еще неожиданная черта Бродского — оказывается, у него (ранних лет) Ислам обозначен как обязательная составляющая. И лишь в «Назидании» он суров, он говорит с точки зрения европейца.

Как в воспоминаниях важны прорывы, так в стихах сделанность не гарантия качества; важнее бывает одна, но невероятно сказанная строка. К стихам ведь склонны люди неуравновешенные, от немоты извергающие новый язык. Так женщина оформляет необъяснимое чувство в новую влюбленность. И поэтому поэзия может быть и глуповатой (*Пушкин*) и бесстыдной (*Ахматова*).

Неточным размером, лишними, но такими пужными слогами открыл новую поэтику Северянин. И далее Оболдуев и Олейников дотянули до Бродского, до Седаковой. Стих свободен и строен, как струи воды на шахматных каскадах Петергофа. Синтагма не ограничена более строкой, но ею организована — так происходит перенос от звука к смыслу.

В конце жизни «псюхэ», истраченная безрелигиозными людьми, не пополняемая порождаемыми, творимыми энергиями, восстанавливается в предыдущей стадии веры — отцов, предков, смешанной с суевериями. И опять, и опять отброшенная, стремится ввысь.

КИНОТЕАТР

Возможно ли переиграть жизнь, или мы то и дело попадаем в структуры, разыгрывающие нас, как пешки?

Человек советской классики, рывком придвинувшийся к международному постмодернизму, оказывается в экзистенциальном вакууме; он как бы в сновидении — все видит, но ничего не может понять. Или он спал до того, а теперь грезит наяву?

Его новому зрению сродни монохромные вневременные повествования, вроде коричневатого-приглушенной ленты Германа, или замедленное движение в сонной воде Тарковского, или вовсе застывшие живые фрески Параджанова.

Обитель, объятая пламенем, — символ земного мира, горящий дом — мир страданий, — так неожиданно интерпретируется «Жертвоприношение» в свете Сутры Лотоса. Вспомним «Сталкера» в свете учения Гурджиева. Ведь это, по слову Н. В. Андреева, «зренье завтрашнего дня, своей беспощадной ясностью, как бритвой разрезающее жизнь. Всеведение. А ведь хочется чего-то и не понимать».

Когда возвращается к жизни мужское творческое подсознание, тогда яркое дневное зрение сменяется сумеречными видениями.

Наши сонники — Питер Брук и Кастанеда, Годар и кришнаизм, Тай Че Чуань и Феллини.

До начала всех пьес путем совместного тренинга идет создание своего алфавита, языка телесного воплощения. Начиная с простого — с осознания возможностей собственного тела в новой реальности — культурной.

Поэтому театр теперь начинается с пробуждения, создания нового тела труппы — на основе эвритмии ли, в школах восточной борьбы или сыгрыванием непрофессионалов в актерскую команду ради одного только фильма, как у Сокурова. До начала всех пьес путем совместного тренинга идет создание своего алфавита, языка телесного воплощения.

Театр вернулся к изначальному магическому действию, включая расположенных кругом зрителей в проецированный на площадку нарождающийся ритуал.

Новые сакралища отличает от традиционных обытовленный текст; его каноничность противоречит ежедневно творимому действию, являясь реликтом классики: возможно ли каждый день просыпаться с одними и теми же словами, — или в этом и состоит разница между храмом и рампой?

Сон не лучшее место для резких движений, он и отличается от яви замедленной пластикой. Но в Неделе Италия-

ского Театра, как и в Неделе Американской Культуры, были такие постановки, которые представляли движения фигур бессознания Кафки в стилистике синих блуз, помноженных на монтаж видеоклипа, что в общем контексте смахивало на шизофрению.

Скромно ли выносить свое «супермастерство» на зрителя? Это производит тяжкое впечатление подглядывания. Когда нечего играть.

Нас спрашивали: «Любите ли вы театр, как его люблю я?» — да не часто хочется знать ваши профессионально сделанные, но сугубо субъективные штудии. Когда говорят, что это отлично проработано, что очень профессионально — пожалуйста, но любить меня это никто не заставит.

Уже хочется сделать театр без актера: черное пространство сцен с самодвижущимися муляжами, зеркальными тенями, лазерами в дыму.

... Нам вдруг припомнится фильм «Омен» — исключительно из-за названия: в переводе с латыни «омен» — это примета, предзнаменование. Дело в том, что мы родились, по слову Елены Шварц, «в час, когда сумерки из-под земли сочатся» — в день, когда был убит Пазолини — Хэллоуин.

Один раз в жизни любая женщина бывает невероятно красивой. Один раз любая обыденная история прорывается в вечность.

Дело в том, что когда мы проснулись, то обнаружили, что все вокруг — культура. Все уже названо, исследовано и доказано. История вот-вот свершится, захлопнутся створки вещей. Еще не известно, возможны ли новые мифы, но мы сами уже перевалились большей своей частью в мир невидимый.

Мы можем об этом не подозревать, вторая половина нашей жизни будет закрыта от нас раздвоением сознания, как у зомби, и только преодоление чар позволит выбраться в целостное знание о себе.

Так фильм Алана Паркера можно без дешифровки резюмировать: кой толк было жить после своей смерти еще 12 лет, не зная, кем был, не ведая, что это дар? Знакомому же с культом воды, восстанавливающим покойников к жизни, многое скажут голова черного петуха и имена героев: Луис Файр (Люцифер), Круземарк («печать креста»). Эпифания и лопасти вентилятора, проходящие через весь фильм. По поводу которых можно вспомнить Бродского: «И крутится сознание, как лопасть, вокруг своей негнущейся оси».

Мы одни — и нас двое. Мы единственны, но никогда не наедине.

ОБ АВТОРАХ

Владимир УСТИНОВ. Родился в 1950 году в Китае. Учился в Челябинском институте культуры, был отчислен по идеологическим мотивам. Музыкант-гитарист, педагог. Первая публикация — в журнале «Континент», в 1987 году. Живет в Челябинске.

Сергей САМОЙЛЕНКО. Родился в 1960 году. Живет в Кемерове. В 1991 году окончил Литературный институт, семинар Ларисы Васильевой. Стихи пишет с 1982 года. Печатался в журналах «Литературная учеба», «Мы»; в Кемерове вышла небольшая книга его стихов.

Александр ПОКРОВСКИЙ. Родился в 1952 году. Окончил химический факультет военно-морского училища, служил на подводных лодках. Капитан 2-го ранга запаса. Печатался в газетах «Час пик», «Литератор», альманахе «Родник».

Михаил СМОЛЯНИЦКИЙ. Родился в 1969 году. В 1986 году поступил в Московский историко-архивный институт. В 1988 был призван в армию, откуда уволен через год (по студенческой амнистии). Ныне — студент 5-го курса Российского гуманитарного института. Проза публикуется впервые.

Юрий РОМАНОВ. Родился в 1955 году в Москве. Работал дизайнером. Публикации в «Собеседнике», эфир на радио «Свобода».

Желающим получать «СОЛО» необходимо перевести 99 руб. за каждый номер почтовым переводом (в графе «Для письменного сообщения» указать: «За журнал «СОЛО», №№...»), затем выслать квитанцию об оплате с указанием номеров и количества экземпляров, а также подробного адреса и фамилии получателя по адресу:

109652, Москва, ул. Подольская, 25, кв. 212, Ермаковой М. А.
Телефон для справок в Москве: 925-54-85

*Редакционная Коллегия
выражает искреннюю признательность
анонимному английскому Учредителю Премии
«за лучшее независимое издание,
способствующее свободному развитию
современной русской литературы» —
«малый БУКЕР» —
присужденной решением Международного Жюри
в 1992 году
журналу «СОЛО»*

Александр МИХАЙЛОВ

Нам было весело делать этот журнальчик, внешне напоминающий инструкцию к пылесосу...

Владимир УСТИНОВ

Он не разделяет вздорного мнения о Соединенных Штатах Америки. Для него Штаты — это двухэтажные домики-брандстоуны на 52-й стрит, где играли джаз черные и белые.

Сергей САМОЙЛЕНКО

*Вези меня, слепой таксист,
по улочкам и закоулкам.*

Александр ПОКРОВСКИЙ

Командант города Н., замшелый майор, чувствовал себя как-то печально, как, может быть, чувствует себя отслужившая картофельная ботва.

Михаил СМОЛЯНИЦКИЙ

Я ждал, что меня сбросят в пролет лестницы, если уж у меня, слюнтяя, неостанет на это сил самому, как достало у Гаршина.

Юрий РОМАНОВ

Человек советской классики, рывком придвинувшийся к международному постмодернизму, оказывается в экзистенциальном вакууме...